

pocketbook

ИЭН МАКЬЮЭН

Амстердам

Амстердам
Иэн Макьюэн

Аннотация
Иэн Макьюэн. Амстердам
I
II
III
IV
V
~

Аннотация

Иэн Макьюэн — один из авторов «правящего триумвирата» современной британской прозы (наряду с Джулианом Барнсом и Мартином Эмисом). Его «Амстердам» получил Букеровскую премию. Русский перевод романа стал интеллектуальным бестселлером, а работа Виктора Голышева была отмечена российской премией «Малый Букер», в первый и единственный раз присужденной именно за перевод.

Двое друзей — преуспевающий главный редактор популярной ежедневной газеты и знаменитый композитор, работающий над «Симфонией тысячелетия», — заключают соглашение об эвтаназии: если один из них впадет в состояние беспамятства и перестанет себя контролировать, то другой обязуется его убить…

Иэн Макьюэн
Амстердам

Яко и Элизабет Гроот

Друзья здесь встретились и обнялись
И разошлись — к своим ошибкам.

У. Х. Оден. Перекресток

I

1

Двое бывших любовников Молли Лейн стояли у часовни крематория спиной к холодному февральскому ветру. Обо всем уже было говорено, но они проговорили еще раз.

— Так и не поняла, что на нее обрушилось.

— А когда поняла, было поздно.

— Быстро скрутило.

— Бедная Молли.

— Ммм.

Бедная Молли. Началось с покалывания в руке, когда она ловила такси у ресторана «Дорчестер»; ощущение это так и не прошло. Через несколько недель она уже с трудом вспоминала слова. «Парламент», «химию», «пропеллер» она могла себе простить, но «сливки», «кровать», «зеркало» — это было хуже. Когда временно исчезли «аканф» и «брезаола»,[1] она обратилась к врачу, ожидая, что ее успокоят. Однако ее направили на

[1] Примечания: 1

Аканф — растительный орнамент в виде листьев, как на коринфских колоннах. Bresaola *(ит.)* — вяленое мясо.

обследование, и, можно сказать, оттуда она уже не вернулась. Как же быстро боевая Молли стала больной пленницей своего угрюмого собственника-мужа Джорджа. Молли, ресторанный критик, фотограф, женщина неиссякаемого остроумия, дерзновенная садовница, возлюбленная министра иностранных дел, способная легко пройтись колесом в свои сорок шесть лет. О ее стремительном погружении в безумие и боль судачили все: потеря контроля над отправлениями, а с ним — и чувства юмора, а затем — постепенное затмение с эпизодами бессильного буйства и приглушенных криков.

При виде появившегося из часовни Джорджа любовники Молли отошли подальше по заросшей гравийной дорожке. Они добрели до участка овальных розовых клумб с табличкой «Сад памяти». Все растения были безжалостно срезаны на высоте нескольких сантиметров над промерзшей землей — Молли такую практику осуждала. Газон был усеян сплющенными окурками — здесь люди дожидались, когда предыдущая группа освободит здание. Прохаживаясь взад и вперед, старые друзья возобновили разговор, к которому возвращались уже раз десять до этого в разных формах; но он утешал их больше, чем пение «Пи-

лигрима».

Клайв Линли узнал Молли первым, в шестьдесят восьмом, когда они были студентами и жили одним домом, хаотическим и зыбким, в Вейл-оф-Хелте.[2]

— Ужасный конец.

Он смотрел, как растворяется в сером воздухе пар его дыхания. Сказали, что в центре Лондона температура минус одиннадцать. Минус одиннадцать. Что-то очень неладно в мире, и не обвинишь в этом ни Бога, ни его отсутствие. Первое непослушание человека, его падение, нисходящий мотив, гобой, девять нот, десять нот. У Клайва был абсолютный слух, и он слышал, как они спускаются от соль. Записывать не было нужды.

Он продолжал:

— Понимаешь — умирать, ничего не сознавая, как животное. Ослабеть, стать полностью зависимой, не успев отдать последние распоряжения и даже попрощаться. Болезнь подкралась…

Клайв пожал плечами. Они дошли до края вытоптанной лужайки и повернули обратно.

— Она предпочла бы самоубийство такому кон-

---

[2] Примечания: 2
Вэйл-оф-Хелт — район на северо-западе Лондона.

цу, — отозвался Вернон Холлидей.

Он прожил с ней год в Париже в семьдесят четвертом, когда впервые поступил на работу в «Рейтер», а она пописывала для «Вога».

— С мертвым мозгом и в клешнях Джорджа, — сказал Клайв.

Джордж, грустный богатый издатель, не чаял в ней души, и она, к всеобщему удивлению, так и не бросила его, хотя всегда обходилась с ним дурно. Они посмотрели в его сторону: Джордж стоял у двери в группе людей, принимал соболезнования. Смерть жены избавила его от общего презрения. Он будто вырос на дюйм или два, спина у него выпрямилась, голос стал гуще, новообретенное достоинство сузило глаза, погасило жадный, просящий взгляд. Отказавшись сдать ее в приют, он ухаживал за ней собственноручно. И, что существеннее, вначале, когда люди еще хотели ее навещать, он фильтровал посетителей. Для Клайва и Вернона допуск был строго ограничен, поскольку считалось, что при них она разволнуется, а после будет удручена своим состоянием. Другой ответственный гость, министр иностранных дел, также был нежелателен. Люди стали ворчать, в колонках светской хроники появилось несколько сдержанных замечаний. А потом все

это потеряло значение: по рассказам, она чудовищно изменилась, люди не хотели ее навещать и были рады, что Джордж их не пускает. Однако Клайв и Вернон с удовольствием продолжали его ненавидеть.

Когда они повернули обратно, в кармане у Вернона запищал телефон. Он извинился и отошел в сторону, предоставив другу продолжать прогулку в одиночестве. Клайв запахнул пальто и замедлил шаг. У крематория собралось уже сотни две людей в черном. Пора подойти и сказать что-нибудь Джорджу, иначе будет сочтено невежливостью. Наконец-то Джордж ею завладел — когда она уже не узнавала свое лицо в зеркале. С романами ее он ничего не мог поделать, но в финале она стала целиком его. У Клайва занемели ноги, он стал топать, и в том же ритме вернулись десять нисходящих нот ритардандо,[3] английский рожок, а в контрапункт с ним, мягко, восходящий мотив виолончелей, зеркальный образ. В нем — ее лицо. Конец. Все, что было нужно ему сейчас, — тепло, тишина его студии, рояль, недописанная партитура — и закончить. Он услышал слова Вернона, завершавшего разговор: «Отлично. Перепишите

[3] Примечания: 3
Ritardando *(ит.)* — замедляя.

резюме и поставьте на четвертую полосу. Я буду часа через два». Затем Клайву:

— Чертовы израильтяне. Нам пора подойти.

— Пожалуй.

Однако они сделали еще один круг по лужайке: в конце концов, они тут для того, чтобы хоронить Молли.

С заметным усилием над собой Вернон отодвинул служебные заботы.

— Она была милой девочкой. Вспомни бильярдный стол.

В 1978 году под Рождество компания друзей сняла большой дом в Шотландии. Молли и ее тогдашний спутник, королевский адвокат[4] по фамилии Брейди, изобразили на бильярдном столе Адама и Еву: он в трусах, она в трусах и лифчике, подставка для кия — змей, красный шар вместо яблока. В пересказах, однако, история приобрела несколько иной вид и в таком виде не только попала в один некролог, но даже запомнилась кое-кому из свидетелей: «Молли плясала в сочельник нагишом на бильярдном столе в шотландском замке».

— Милая девочка, — повторил Клайв.

---

[4] Примечания: 4

Королевский адвокат — высшее адвокатское звание; присваивается королевской грамотой.

Делая вид, будто откусывает яблоко и жует, она смотрела прямо на него и развратно улыбалась. Она выкатила бедро и подбоченилась, пародируя уличную девку. Он счел ее упорный взгляд сигналом, и правда, в апреле они снова сошлись. Молли переехала в его студию в Южном Кенсингтоне и осталась на все лето. В это время как раз открылась ее ресторанная колонка и сама она выступила по телевизору, раскритиковав мишленовский путеводитель[5] как «кулинарный китч». Он тоже впервые обозначился перед публикой — «Оркестровыми вариациями» в Фестивал-холле. Второй заход. Она, вероятно, не изменилась, а он — определенно да. За десять лет он узнал достаточно, чтобы еще кое-чему у нее научиться. Его система всегда была — молот и наковальня. Она научила лукавому сексу, тому, что иногда необходима неподвижность. Лежи тихо, вот так, смотри на меня, смотри как следует. Мы — бомба замедленного действия. Ему было почти тридцать; по нынешним меркам запоздалое развитие. Когда она нашла себе квартиру и собрала чемоданы, он предложил ей пожениться. Она поцеловала его и прошептала на ухо: «Чтоб

[5] Примечания: 5

Мишленовский путеводитель — ресторанные новости «U. K. Michelin Guide».

она не ушла, он женился на ней, / И теперь она с ним, как репей». Она была права, потому что после ее отъезда он радовался одиночеству как никогда и написал «Три осенние песни» меньше чем за месяц.

— Ты чему-нибудь у нее научился? — вдруг спросил Клайв.

В середине 80-х Вернон тоже прошелся по второму кругу — во время отпуска, в одном имении в Умбрии. Он был тогда римским корреспондентом газеты, которую теперь редактировал, и женатым человеком.

— Я секс не запоминаю, — ответил он, помолчав. — Наверняка это было изумительно. Но помню, что она объяснила мне все про порчини[6] — как выбирать, как готовить.

Клайв счел это отговоркой и тоже решил не откровенничать. Он оглянулся на дверь часовни. Придется подойти. И сам себе удивился, когда с некоторой яростью произнес:

— Знаешь, мне надо было жениться на ней. Когда она стала сдавать, я бы задушил ее подушкой или как-нибудь еще и спас бы от всеобщей жалости.

---

[6] Примечания: 6
Porcini *(ит.)* — белые грибы.

Вернон, засмеявшись, повел друга из Сада памяти.

— Легко сказать. Представляю, как ты пишешь гимны для прогулок заключенных аферистов — вроде этой, как ее — суфражистки…

— Этель Смит. Будь уверен, мои были бы лучше.

Друзья Молли, собравшиеся на похороны, предпочли бы не присутствовать в крематории, но Джордж предупредил, что панихиды не будет. Он не желал, чтобы три бывших любовника публично сравнивали свои впечатления на кафедре Сент-Мартина или Сент-Джеймса или переглядывались во время его речи. Подойдя к толпе, Клайв и Вернон услышали привычный гомон фуршета. Подносов с шампанским не было, и голоса не отражались от ресторанных стен, но в остальном это вполне могло сойти за очередной вернисаж в галерее или прием в редакции. Клайв никогда не видел столько лиц при свете дня, притом ужасно выглядящих — кадавры, поставленные стоймя, чтобы приветствовать новопреставленную. В приливе мизантропической энергии он плавно двинулся сквозь гам, не оборачиваясь, когда его окликали, убирая локоть, когда за него хватались, — прямо к Джорджу, который разговаривал

с двумя женщинами и старым сморчком в мягкой шляпе и с палкой.

«Какой холод, надо уходить», — услышал Клайв чей-то возглас, но пока что никто не мог преодолеть центростремительную силу светского события. Вернона он потерял — того утащил владелец телеканала.

Наконец Клайв ухватился за руку Джорджа, неплохо изобразив искренность.

— Чудесная служба.

— Очень приятно, что вы пришли.

Ее смерть облагородила Джорджа. Спокойная важность была не в его манере, как правило просительной и хмурой; хотел нравиться, но неспособен был принять дружелюбие как должное. Бремя чрезмерно богатых.

— Извините, пожалуйста, — добавил он, — это сестры Финч, Вера и Мини, приятельницы Молли с бостонских времен. Клайв Линли.

Они обменялись рукопожатиями.

— Вы композитор? — спросили Вера и Мини.

— Да.

— Это большая честь, мистер Линли. Моя одиннадцатилетняя внучка разучила вашу сонатину для экзамена и просто влюбилась в нее.

— Рад слышать.

Мысль о том, что его музыку играют дети, слегка угнетала.

— А это, — сказал Джордж, — тоже из Штатов — Харт Пулман.

— Харт Пулман. Наконец-то. Помните, я положил ваши стихи «Ярость» на музыку для джаз-оркестра?

Пулман был поэт-битник, последний оставшийся в живых из поколения Керуака. Высохшая ящерка с трудом повернула голову, чтобы взглянуть на Клайва.

— Я теперь ничего не помню, то есть ни хера, — произнес он тонким, жизнерадостным голосом.

— Но Молли-то вы помните, — сказал Клайв.

— Кого? — Секунды две Пулман сохранял серьезный вид, потом закудахтал и тонкими белыми пальцами схватил Клайва за руку. — Ну как же, — сказал он своим мультипликационным голосом. — Мы с Молли сдружились в шестьдесят пятом, в Ист-Виллидже.[7]

Стараясь не выдать своей обеспокоенности, Клайв произвел в уме вычитание. В июне 65-го ей исполнилось шестнадцать. Почему она ни разу об этом не упомянула? Он нейтрально осве-

---

[7] Примечания: 7

Ист-Виллидж — район Южного Манхэттена; в 1960-х годах был одним из центров городской контркультуры.

домился:

— Наверно, она приезжала на лето.

— Угу. Пришла на мою крещенскую вечеринку. Какая девочка, а, Джордж?

Значит, растление. За три года до него. Ни разу не сказала ему про Харта Пулмана. А на премьере «Ярости» она была? В ресторан не пришла потом? Не помнит. То есть ни хера.

Джордж отвернулся и разговаривал с американскими сестрами. Решив, что терять нечего, Клайв приложил ладонь ко рту и наклонился к уху Пулмана.

— Никогда ты с ней не спал, лживая рептилия. Она бы не опустилась до такого.

Он не имел намерения сразу удалиться, потому что хотел услышать ответ Пулмана, но тут слева и справа надвинулись две шумные группы: одна — засвидетельствовать почтение Джорджу, другая — почтить поэта, и в образовавшемся круговороте Клайв был оттеснен в сторону и ушел. Харт Пулман и несовершеннолетняя Молли. С отвращением он протолкался сквозь толпу и, очутившись на свободном пятачке, благополучно никем не востребованный, остановился, чтобы оглядеть друзей и знакомых, занятых разговорами. Кажется, он единственный ощущал потерю.

Может быть, если бы он женился на ней, то был бы хуже Джорджа и даже этого собрания не вынес бы. И ее беспомощности. Наклонить коричневый пластмассовый флакончик, и тридцать снотворных таблеток на ладонь. Ступка, немного виски. Три столовые ложки желтоватой кашицы. Она смотрела на него, глотая, как будто понимала. Левой рукой он поддерживал ей подбородок, чтобы не вылилось. И обнимал ее, пока она спала, а потом — всю ночь.

Он один ощущал потерю. Он окинул взглядом собравшихся: многие — его возраста, возраста Молли, на год-другой моложе или старше. Какие благополучные, какие влиятельные, как расцвели при правительстве, которое почти семнадцать лет презирали. «Говоря о моем поколении…» Такая энергия, такая удачливость. Вспоенные молоком и соком послевоенного Государства, а затем подкармливаемые невинным и неуверенным благосостоянием родителей, взрослыми вступили в мир полной занятости, новых университетов, книг в ярких бумажных обложках, в Августов век рок-н-ролла и обеспеченных доходами идеалов. Когда лестница позади них затрещала, когда Государство отняло титьку и стало сварливой бабой, они уже были

в безопасности, они объединились и принялись обзаводиться теми или иными вкусами, мнениями, состояниями.

Он услышал веселый возглас женщины: «Я ни рук ни ног не чувствую, я ухожу!» Обернувшись, увидел молодого человека, уже протянувшего руку к его плечу. Лет двадцати пяти, то ли лысый, то ли бритый, в сером костюме, без пальто.

— Мистер Линли. Извините, что помешал вашим мыслям, — сказал молодой человек, убрав руку.

Клайв решил, что он музыкант или любитель автографов, и стянул лицо в маску терпения.

— Ничего страшного.

— Не найдется ли у вас времени подойти и поговорить с министром иностранных дел? Он очень хочет вас видеть.

Клайв поджал губы. Он не хотел знакомиться с Джулианом Гармони, но и не хотел быть демонстративно невежливым. Никуда не денешься.

— Показывайте дорогу, — сказал он, и его повели мимо сбившихся в кучки приятелей: некоторые пытались угадать, куда он идет, и заманить в свою компанию.

— Эй, Линли. Никаких переговоров с врагом!

Действительно, враг. Чем он ее привлек? Внеш-

ность странная: большая голова, шапка черных волнистых волос, притом собственных, жуткая бледность, тонкие невыразительные губы. Он сделал себе состояние на политическом рынке с весьма заурядным товаром карательных идей и ксенофобии. У Вернона объяснение было простое: высокопоставленный мерзавец и бойкий в койке. Но таких она могла найти сколько угодно. Должен быть какой-то скрытый талант, который помог ему взобраться туда, куда он взобрался, а теперь еще и нацелиться на кресло премьера.

Помощник подвел Клайва к подкове, выстроившейся перед Гармони, который, видимо, произносил речь или рассказывал какую-то историю. Он прервался, чтобы сунуть руку Клайву и с чувством, словно они были вдвоем, промолвить:

— Много лет мечтал с вами познакомиться.

— Здравствуйте.

Гармони говорил для публики, среди которой были двое молодых людей с приятными, откровенно нечестными лицами газетных хроникеров. Министр был на сцене, а Клайв служил бутафорией.

— Моя жена знает кое-какие из ваших фортепьянных пьес на память.

Опять. Клайв озадачился. И впрямь он такой

ручной, одомашненный гений, как утверждают некоторые критики помоложе, — Горецкий[8] для мыслящих?

— Прекрасная, должно быть, пианистка.

Он давно не сталкивался с политиком вплотную и забыл это движение глаз, неустанный поиск слушателей, или дезертиров, или же фигуры более высокого ранга поблизости, или иного какого-то шанса, чтобы, не дай бог, не упустить.

Гармони озирался, контролируя аудиторию.

— Начинала блестяще. Голдсмитс-колледж, потом Гилдхолльская школа. Ее ждала сказочная карьера… — Пауза для комического эффекта. — Потом познакомилась со мной и выбрала медицину.

Захихикали только помощник и еще одна женщина из сопровождения. Журналисты остались равнодушны. Возможно, они это уже слышали.

Взгляд министра снова остановился на Клайве.

— И еще одно. Я хотел вас поздравить с государственным заказом. «Симфония тысячелетия». Вы знаете, что решение принималось на правительственном уровне?

— Слышал. И вы голосовали за меня.

---

[8] Примечания: 8

Хенрик Горецкий (р. 1933) — польский композитор.

Клайв позволил себе нотку усталости, но Гармони отреагировал так, как будто перед ним рассыпались в благодарностях.

— Это — самое малое, что я мог сделать. Кое-кто из моих коллег предлагал эту поп-звезду, бывшего «битла». Так как продвигается дело? Идет к завершению?

— Почти.

Конечности у него уже полчаса как окоченели, но только теперь холод пронял его до нутра. В тепле своей студии он сидел бы без пиджака, работая над последними страницами симфонии, до первого исполнения которой оставались считаные недели. Он уже дважды отодвигал срок сдачи, и ему не терпелось домой. Он подал министру руку:

— Рад был познакомиться. Мне пора.

Но Гармони не принял его руки и заговорил через него: можно было выжать еще немного из встречи со знаменитым композитором.

— Знаете, я часто думал: право художника, такого, как вы, свободно заниматься творчеством есть то, что придает смысл моей должности…

Последовало еще что-то в том же ключе; Клайв смотрел на него, ничем не выдавая растущей неприязни. Гармони тоже был из его поколения.

Высокий пост лишил его способности на равных разговаривать с незнакомым. Может быть, это и дарил он ей в постели: волнующее соприкосновение с безличным. Мужчина, вертящийся перед зеркалами. Но она, конечно, предпочитала душевное тепло. Лежи тихо, смотри на меня, как следует смотри. Может быть, эта связь была не более чем ошибкой — Молли и Гармони. Так или иначе, теперь она представилась Клайву непереносимой.

— Интересно, — сказал он бывшему любовнику Молли, — вы по-прежнему отстаиваете казнь через повешение?

Министра нисколько не обескуражил этот неожиданный поворот, однако взгляд его посуровел.

— Полагаю, большинству людей известна моя позиция в этом вопросе. В данный же момент я с радостью разделяю точку зрения парламента и коллективную ответственность кабинета. — Он изготовился к схватке и одновременно включил обаяние.

Оба газетчика придвинулись ближе со своими блокнотами.

— Прочел, в какой-то речи вы заявили, что Нельсон Мандела заслуживает виселицы.

Гармони, которому в будущем месяце предстояло посетить Южную Африку, спокойно улыбнулся. Речь эту бесцеремонно выкопала на днях газета Вернона.

— По-моему, нет смысла пригвождать людей к словам, произнесенным в ту пору, когда они были опрометчивыми студентами. — Он усмехнулся. — Почти тридцать лет назад. Уверен, что и у вас бывали довольно скандальные высказывания или мысли.

— Конечно бывали, — ответил Клайв. — О том и речь. Если бы тогда вышло по-вашему, теперь и смысла не было бы менять точку зрения.

Гармони слегка кивнул, принимая довод.

— Справедливо. Но в реальном мире, мистер Линли, ни одна система правосудия не свободна от человеческой ошибки.

И тут министр иностранных дел сделал нечто необыкновенное, опрокинувшее теорию Клайва об эффектах общественной должности и даже вызвавшее, задним числом, его восхищение. Гармони приблизился и, взяв его двумя пальцами за лацкан пальто, подтянул к себе и произнес так, чтобы никто не услышал:

— Когда я в последний раз виделся с Молли, она сказала, что вы импотент и всегда им были.

— Совершенный вздор. Она не могла так сказать.

— Конечно, вы будете отрицать. Можем обсудить это вслух перед теми джентльменами — или же вы можете отстать от меня и вежливо попрощаться. Другими словами, пошел к чертовой матери.

Речь была быстрой и горячей, а закончив, Гармони отодвинулся, с улыбкой потряс руку Клайва и громко сказал помощнику:

— Мистер Линли любезно согласился присутствовать на обеде.

Это, возможно, было условленной фразой: молодой человек тут же подошел, чтобы увести Клайва, а Гармони, повернувшись к ним спиной, сказал журналистам:

— Выдающаяся личность — Клайв Линли. Обозначить разногласия и остаться друзьями — не это ли суть цивилизованного существования?

2

Часом позже машина Вернона, несуразно маленькая для человека, разъезжающего с шофером, привезла Клайва в Южный Кенсингтон. Он вылез и попрощался.

— Ужасные похороны.

— Даже выпить не дали.

— Бедная Молли.

Клайв вошел в дом и остановился в передней, вбирая тепло радиаторов и тишину. Записка от экономки сообщала, что в студии есть для него термос с кофе. Он поднялся туда в пальто, взял карандаш и бумагу и, положив ее на рояль, записал десять нисходящих нот. Потом стоял у окна, смотрел на листок и мысленно вслушивался в контрапункт виолончелей. Часто бывали дни, когда заказ на симфонию представлялся ему дурацкой напастью: бюрократическое вторжение в его творческую жизнь; полная неясность с тем, где конкретно сможет репетировать с Британским симфоническим оркестром знаменитый итальянский дирижер Джулио Бо; легкое, но непрестанное раздражение от чрезмерно возбужденного или враждебного любопытства прессы; то, что он дважды продлевал срок — да и до конца тысячелетия еще не один год. Но случались и такие дни, как сегодня, когда он не думал ни о чем, кроме самой музыки, и его неудержимо тянуло домой. Держа все еще не отошедшую от холода левую руку в кармане, он сыграл записанный пассаж — медленный, с хроматизмами, ритмически замысловатый. Там было даже два

размера. Затем, по-прежнему правой рукой и в медленном темпе, он сымпровизировал восходящую мелодию виолончелей, сыграл ее несколько раз, варьируя, пока она его не удовлетворила. Он записал новый голос, который будет звучать в самом верхнем регистре виолончелей и создаст ощущение выброса яростной энергии. Радостно будет высвободить ее в финале симфонии.

Он отошел от рояля, налил кофе и выпил на своем обычном месте у окна. Половина четвертого, а уже темно, и надо зажигать свет. Молли стала пеплом. Он проработает ночь и проспит до обеда. В общем-то, делать больше нечего. Сделай что-то и умри. Выпив кофе, он вернулся обратно и, стоя, нагнувшись над роялем, в пальто, сыграл обеими руками в хиреющем свете только что записанные ноты. Почти правильно, почти правда. В них было сухое томление по чему-то недоступному. По кому-то. В такие минуты он звонил ей и просил приехать — когда не мог усидеть за роялем из-за беспокойства, но и не мог оставить его в покое, настолько был возбужден новыми идеями. Если она была свободна, то приезжала, заваривала чай или смешивала экзотические напитки и усаживалась в углу, в вытертое кресло. Иногда они разговаривали, а иногда она заказывала музыку

и слушала с закрытыми глазами. Вкусы ее были на удивление строгими для любительницы вечеринок. Бах, Стравинский, редко — Моцарт. Она уже не была той молодой женщиной, не была его любовницей. Им было приятно в обществе друг друга, но отношения стали ироничнее, страсть ушла, и теперь они любили свободно поговорить о своих романах. Молли вела себя по-сестрински и оценивала его женщин великодушнее, чем он — ее мужчин. А в остальном разговоры шли о музыке и еде. Теперь она сделалась мелким пеплом в алебастровой урне, которую Джордж будет держать на гардеробе.

Клайв наконец согрелся, но в левой руке еще покалывало. Он снял пальто и бросил на кресло Молли. Прежде чем вернуться к роялю, он обошел комнату, включая лампы. Больше двух часов он возился с виолончельной партией и прикидывал дальнейшую оркестровку, не замечая ни темноты за окном, ни приглушенных педальных нот вечернего часа пик. Это был лишь мостик, переход к финалу; Клайва завораживало в нем обещание, устремленность — он воображал древние, истертые ступени, плавным поворотом уходящие из виду, — желание взбираться все выше и выше и наконец решительным прыжком в далекую

тональность, в струйках звука, опадающих, как остатки тумана, войти в заключительную мелодию, прощание, запоминающуюся мелодию пронзительной красоты, которая заставит забыть о ее старомодности, и оплачет уходящий век со всеми его бессмысленными зверствами, и восславит его блестящую изобретательность. И когда уляжется волнение премьеры, отгремят проводы тысячелетия, погаснут фейерверки, закончатся записи и анализы, — еще долго потом эта неотразимая мелодия будет звучать как элегия отошедшему веку.

Так виделось не только Клайву, но и комитету, который выбрал композитора, мыслящего ну хотя бы этот восходящий пассаж как древние, вытесанные из камня ступени. Даже его поклонники, по крайней мере в 70-х годах, жаловали его званием «архиконсерватора», между тем как критики предпочитали слово «атавизм»; однако все сходились на том, что Линли, как Шуберт и Маккартни, умеет сочинить мелодию. Заказ был дан загодя, чтобы симфония успела «прижиться»; например, Клайву предложили, чтобы какой-нибудь шумный, напористый пассаж на медных можно было использовать как заставку в главных вечерних теленовостях. Комитет, рас-

цениваемый музыкальной общественностью как полупросвещенный, желал такую симфонию, из которой можно было бы извлечь хоть одну тему, гимн, элегию оклеветанному почившему веку, чтобы сделать частью официальных церемоний, наподобие *Nessun dorma*[9] в футбольном чемпионате. Сделать частью, а потом пусть отправится в свободное плавание и в третьем тысячелетии заживет в народном сознании самостоятельной жизнью.

Для Клайва Линли вопрос был ясен. Он видел себя наследником Воана-Уильямса[10] и полагал такие эпитеты, как «консервативный», неуместными, ошибочными заимствованиями из политического словаря. Кроме того, в 70-х, когда его стали замечать, атональная музыка, алеаторика, додекафония, электроника, замена звуковысотных структур тембровыми массами — словом, весь модернистский проект превратился в ортодоксию, преподаваемую в колледжах. Конечно, реакционерами были эти адепты модернизма, а

---

[9] Примечания: 9

«Nessun dorma» *(um.)* — «Пусть никто не спит», ариозо из оперы Пуччини «Турандот». В 1990 г. использовалась как музыкальная заставка в передачах Би-би-си о мировом чемпионате по футболу.

[10] Примечания: 10

Ральф Воан-Уильямс (1872–1958) — английский композитор.

не он. В 1975 году он опубликовал книжку страниц в сто, которая, как и всякий хороший манифест, была одновременно и апологией, и наступлением. Старая гвардия модернизма заперла музыку в академию, где ее ревниво охраняли от посторонних, выхолащивали и в конце концов надменно разорвали ее живой завет с широкой публикой. Клайв сардонически описывал субсидированный государством «концерт» в почти пустой церкви, где битый час по ножкам рояля колотили сломанным грифом скрипки. В программе объяснялось, со ссылками на холокост, почему на данном этапе европейской истории никакие другие формы музыки не жизнеспособны. Для узколобых фанатиков, утверждал Клайв, любого рода успех, пусть самый ограниченный, любое общественное признание — верный признак эстетического компромисса и неудачи. Когда будет написана исчерпывающая история западной музыки XX века, триумфаторами окажутся джаз, блюз, рок и постоянно обновляющаяся традиция народной музыки. Эти формы убедительно доказали, что мелодия, гармония и ритм не противопоказаны новациям. Существенный след в серьезной музыке оставит только первая половина века, и то — лишь избранные композиторы, среди

которых Клайв не числил позднего Шёнберга и «ему подобных».

Это — в части наступления. Для апологии была одолжена и переиначена поношенная фигура из Екклесиаста: время отбирать музыку у комиссаров и время возвращать ей ее изначальную коммуникативность, ибо европейская музыка сложилась в гуманистической традиции, всегда признававшей загадку человеческой природы; время признать, что публичное исполнение есть «секулярное причастие», и время осознать главенство ритма и тона и стихийную природу мелодии. Чтобы достичь этого, не просто повторяя музыку прошлого, мы должны выработать современное определение прекрасного, а это, в свою очередь, невозможно без постижения «фундаментальной истины». Тут Клайв смело позаимствовал из неопубликованных и весьма умозрительных эссе одного из коллег Наума Хомского,[11] — прочел он их на отдыхе, в доме автора на Кейп-Коде: наша способность «расшифровывать» ритмы, мелодии и приятные гармонии, как и наша, лишь человеку присущая, способность учиться языку, задана генетически. Эти

[11] Примечания: 11
Наум Хомский (Ноам Чомски) (р. 1928) — американский языковед.

три элемента были обнаружены антропологами во всех музыкальных культурах. Гармонический слух предусмотрен конструкцией нашего организма. (Кроме того, вне окружающего гармонического контекста дисгармония сама по себе бессмысленна и неинтересна.) Восприятие мелодической линии — сложный психический акт; но его выполняет даже дитя; мы рождаемся с этой наследственностью, мы — *Homo musicus*;[12] поэтому определение прекрасного в музыке должно влечь за собой определение природы человека, что возвращает нас к гуманитарным наукам и проблеме коммуникации…

«Вспомнить прекрасное» Клайва Линли была выпущена в свет к премьере его «Симфонических дервишей для струнных виртуозов». Каскады блестящей полифонии и гипнотически скорбное интермеццо, вызвавшие равное количество восторгов и отвращения, закрепили его репутацию и обеспечили книге хорошую продажу.

Помимо творчества написание симфонии — еще и большой физический труд. Чтобы создать секунду звучания, надо выписать, нота за нотой, партии двух десятков инструментов, сыграть,

---

[12] Примечания: 12
Человек музыкальный *(лат.)*.

переписать, потом, сидя в тишине, внутренним слухом собрать, синтезировать вертикальную структуру значков и вымарок; снова вносить исправления, покуда такт не станет правильным, и снова проверять его на рояле. К полуночи Клайв расширил и записал сольный пассаж и приступил к оркестровому эпизоду, за которым последует размашистая смена тональности. К четырем часам утра он выписал главные партии и уже точно представлял себе, какой будет модуляция, как рассеется туман.

Утомленный, он поднялся из-за рояля; он был доволен тем, как продвинулось дело, но и озабочен: он подвел мощную звуковую машину к той точке, когда должна начаться настоящая работа над финалом, и тут уже требовалось нечто вдохновенное — заключительная мелодия в ее изначальной и простейшей форме, отчетливо изложенная солирующим духовым инструментом или первыми скрипками. Он подошел к сердцевине и ощущал беспокойство. Выключив лампы, он отправился в спальню. У него не было ни наброска идеи, ни обрывка, даже предчувствия ее, и ее не найти, сидя за роялем, сколько ни морщи лоб. Она может родиться, только когда придет ее срок. Он знал по опыту, что самое лучшее

сейчас — расслабиться, отступить, но при этом быть начеку, сохранять состояние готовности. Он предпримет долгую прогулку на природе или даже ряд прогулок. Ему нужны горы, широкое небо. Возможно, Озерный край.[13] Самые лучшие идеи возникали у него нечаянно, километров после тридцати, когда мысли были далеко.

В постели наконец, лежа навзничь в полной темноте и резонируя после напряженной умственной работы, он наблюдал, как зазубренные полосы чистого цвета выхлестывают на сетчатку, а потом складываются, съеживаются в солнечные вспышки. Обеспокоенность из-за работы отлилась оловом обыкновенного ночного страха: болезнь и смерть, эти абстракции, скоро сфокусировались в ощущении, до сих пор не покидавшем левую руку. Она была холодной и непослушной, и ее покалывало, словно он полчаса на ней просидел. Он массировал ее правой рукой и отогревал на теплом животе. Не такое ли ощущение было у Молли, когда она ловила такси возле «Дорчестера»? У него в сиделках — ни подруги, ни жены, ни Джорджа, и, может быть, слава богу. Но что взамен? Он повернулся на бок и закутался

[13] Примечания: 13

Озерный край — живописный район гор и озер на северо-западе Англии. С ним связано творчество многих английских поэтов.

в одеяло. Приют, телевизор в гостиной, лото и старики с их ворчаньем, мочой и слюнями. Он этого не вынесет. Завтра он повидается с врачом. Но ведь и Молли так поступила — и ее отправили на обследование. Они могут контролировать твой распад, но не могут его предотвратить. Так держись от них подальше, сам следи за своей деградацией, а когда уже не сможешь работать или жить с достоинством, кончай с этим сам. Но как не допустить перехода через ту грань, за которой так быстро очутилась Молли, — если станешь слишком беспомощен, слишком дезориентирован, слишком глуп, чтобы покончить с собой?

Нелепые мысли. Он сел, нашарил выключатель лампы и вытащил из-под журнала снотворное, хотя обычно старался избегать его. Взял таблетку, откинулся на подушку и стал медленно жевать. Продолжая растирать руку, он баюкал себя разумными мыслями. Рука замерзла на улице, вот и все — и он переутомился. Надлежащее его занятие в жизни — работать, закончить симфонию, найдя для нее лирическую кульминацию. То, что угнетало его час назад, теперь стало утешением, и минут через десять он выключил свет и снова повернулся на бок: у него есть работа. Он пройдется по Озерному краю. Волшебные имена

успокаивали: Бли-Ригг, Хай-Стайл, Пейви-Арк, Суэрл-Хау. Он пройдет по долине Лангстрат, переправится через ручей, взберется на Скафелл-Пайк и вернется через Крагс. Он хорошо знал местность. На высоком гребне, широко шагая, он восстановится, прочистит зрение.

Он проглотил свою цикуту, больше не будет мучительных фантазий. И эта мысль тоже утешала, так что прежде, чем вещество успело дойти до мозга, он подтянул колени к груди, и его отпустило. Колд-Хэнд, Нетт-Рукк, Пост-Морт, бедный Краг, бедная Молли…

II

1

Во время необычного утреннего затишья Вернона Холлидея не раз посетила мысль, что он, возможно, не существует. Тридцать секунд без помех он сидел, тихо щупая голову пальцами, и тревожился. С тех пор как он прибыл в «Джадж» два часа назад, он успел поговорить, по отдельности и напряженно, с сорока людьми. И не просто поговорить: за исключением двух бесед он всякий раз принимал решения, ставил первоочередные задачи, поручал, выбирал, высказывал мнение, которое будет воспринято как приказ. Это отправление властных обязанностей не обостряло ощущения собственной личности, как обычно, — наоборот, Вернону казалось, что он растворяется; он просто сумма всех людей, которые его выслушивают, а когда он один, его просто нет. Когда он в одиночестве искал мысль, оказывалось, что думать некому. Кресло его пусто; сам он мелко распылен по всему зданию — от финансового отдела на шестом этаже, где он должен вмешаться и предотвратить увольнение старой литсотрудни-

цы, не владеющей орфографией, до цокольного этажа, где из-за мест на стоянке началась открытая война между ведущими сотрудниками, а заместитель главного редактора готов был подать в отставку. Кресло Вернона было пусто потому, что он находился в Иерусалиме, в палате общин, в Кейптауне и Маниле, рассыпавшись по земному шару, как пыль; он был на ТВ и на радио, на обеде с епископами, произносил речь перед нефтепромышленниками, проводил семинар со специалистами из Европейского союза. В краткие мгновения, когда он оставался один, дневной свет гас. И даже наступившая темнота никого конкретно не обступала, никому не причиняла неудобств. Не было даже уверенности, что отсутствует именно он.

Это ощущение отсутствия все усиливалось после похорон Молли. Въедалось в него. Прошлой ночью он проснулся возле спящей жены и вынужден был потрогать свое лицо, дабы убедиться, что еще существует физически.

Собери Вернон своих старших сотрудников и пожалуйся на свое состояние, он был бы встревожен тем, что они не удивлены. Он слыл человеком обтекаемым, без изъянов и доблестей, человеком, который не вполне существует. В профессиональ-

ных кругах восхищались его безликостью. Среди журналистов, часто поминаемая в барах Сити и не нуждавшаяся в прикрасах, ходила чудесная история его назначения редактором «Джадж». Много лет назад он был послушным и работящим помощником поочередно у двух талантливых редакторов, демонстрируя инстинктивный дар не приобретать ни друзей, ни союзников. Когда заболел вашингтонский корреспондент, Вернону приказали подменить его. На третий месяц, на обеде в честь немецкого посла, один конгрессмен принял Вернона за корреспондента «Вашингтон пост» и поведал о неаккуратности президента — массированной пересадке волос за счет налогоплательщиков. Сложилось мнение, что «Плешьгейт» — новость, почти неделю доминировавшая во внутренней политике страны, была извлечена на свет Верноном Холлидеем.

Тем временем один талантливый редактор за другим гибли в кровавых битвах с настырным советом директоров. Возвращение Вернона на родину совпало с внезапной перегруппировкой имущественных интересов. Сцена была усеяна конечностями и торсами укрощенных титанов. Джек Моуби, ставленник совета, оказался неспособен продвинуть почтенное издание к мас-

совому потребителю. Оставался только Вернон.

Теперь он сидел за своим столом и неуверенно массировал череп. В последнее время он понял, что учится жить в небытии. Он не мог долго горевать об исчезновении чего-то такого — себя, — чего уже и вспомнить толком не мог. Все это тревожило — но уже не первый день. А вот сегодня появился физический симптом. Он затронул всю правую сторону головы — и череп, и как-то даже мозг, — ощущение, для которого и слова не подберешь. А может, наоборот, исчезло какое-то ощущение, настолько привычное и постоянное, что он его прежде не замечал — вроде того, как шум становится слышным в тот миг, когда смолкнет. Он точно знал, когда это началось: вчера вечером, когда он встал из-за ужина. И утром не прошло, когда он проснулся: постоянное неопределенное ощущение — ни холода, ни сжатости, ни пустоты, а нечто среднее. Возможно, самое правильное слово — *омертвение.* Его правое полушарие умерло. Уже столько его знакомых умерло, что в нынешнем своем состоянии распыленности он мог рассматривать собственный конец как событие рядовое: суета похорон или кремации, вспухший рубец траура, постепенно опадающий, — жизнь летит даль-

ше. Возможно, он уже мертв. А может быть — и ему очень этого хотелось, — единственное, что требуется, — раза два стукнуть сбоку по голове молотком среднего размера. Он выдвинул ящик стола. Там лежала стальная линейка, наследство от Моуби, четвертого в череде редакторов, не сумевших справиться с падением тиража. Вернон Холлидей старался не оказаться пятым. Он занес линейку над правым ухом, но тут в открытую дверь постучали, вошла его секретарша Джин, и вместо удара пришлось линейкой задумчиво почесаться.

— Повестка дня. Двадцать минут. — Она дала ему верхний листок, а остальные, выходя, положила на стол для совещаний.

Он просмотрел списки. В международном Диббен писал о «Вашингтонском триумфе Гармони». Статья должна быть скептической или враждебной. Если правда триумф — загнать на четвертую полосу. Во внутренних новостях наконец-то материал научного редактора об антигравитационной машине Валлийского университета. Материал броский, и Вернон настаивал на нем, воображая штуковину, которая пристегивается к подметкам. Оказалось, аппарат весит четыре тонны, требует девяти миллионов вольт и не

работает. Но статью дадут все равно — подвал на первой полосе. В том же разделе — «Фортепьянный квартет» — у пианистки родилась четверня. Его заместитель вместе с «Очерками» и всем внутренним отделом сопротивлялись этому, выдавая свою привередливость за здравый смысл. Четверня по нынешним временам — недостаточно, доказывали они, да и о матери никто не слышал; к тому же не красавица и не хочет говорить с прессой. Вернон настоял на своем. По официальным данным Реестра национальной тиражной службы, тираж в прошлом месяце уменьшился на семь тысяч по сравнению с позапрошлым. Время «Джаджа» шло к концу. Вернон еще раздумывал, дать ли статью о сиамских близнецах, сросшихся бедрами, — у одного слабое сердце, так что разделить их нельзя. Они получили должность в местной администрации. «Если мы хотим спасти газету, — твердил Вернон на утренних совещаниях, — вам всем придется пачкать руки». Все кивали, никто не соглашался. Что до мнения стариков, «грамматиков», то «Джадж» должен стоять — пусть даже насмерть — за интеллектуальную честность. Позиция их была безопасная, поскольку никого, кроме предшественников Вернона, из газеты никогда не увольняли.

Когда Джин помахала ему от двери, чтобы он поднял трубку, в кабинет уже входили редакторы отделов с заместителями. Звонок, очевидно, был важный — она губами складывала имя. Джордж Лейн, прочел он.

Вернон повернулся спиной к пришедшим и вспомнил, как избегал Лейна на похоронах.

— Джордж. Все было очень трогательно. Я как раз собирался…

— Да, да. Кое-что возникло. Вам стоит это посмотреть.

— Что именно?

— Фотографии.

— Можете их прислать?

— Исключено, Вернон. Очень, очень острое блюдо. Можете сейчас приехать?

Вернон презирал Джорджа Лейна не только из-за Молли. Лейн владел полутора процентами «Джаджа» и вложил деньги в реорганизацию, ознаменовавшуюся падением Джека Моуби и возвышением Вернона. Джордж думал, что Вернон у него в долгу. Кроме того, Джордж ничего не понимал в газетах — почему и решил, что редактор национального ежедневного издания может прокатиться до Холланд-Парк, через весь Лондон, в одиннадцать тридцать утра.

— Я сейчас несколько занят, — сказал Вернон.

— Я оказываю вам большую услугу. Ради такого «Ньюз оф зе уорлд» пошла бы на убийство.

— Могу быть у вас после девяти вечера.

— Очень хорошо. До встречи, — раздраженно бросил Лейн и повесил трубку.

Все места за столом совещаний, кроме одного, были уже заняты, и, когда Вернон опустился в кресло, разговоры смолкли. Он дотронулся до головы. Теперь, когда он снова был с людьми, за работой, внутреннее отсутствие уже не воспринималось как недуг. Перед ним лежала вчерашняя газета. Он спросил у тишины:

— Кто подписал передовицу по экологии?

— Пат Редпат.

— В этой газете «груз» не «довлеет» и никогда не будет «довлеть», особенно, черт возьми, в передовице. И «никто»... — Для драматизма он выдержал паузу, делая вид, будто пробегает статью. — «Никто» обычно требует глагола в единственном числе. Эти две мысли мы можем усвоить?

Вернон почувствовал одобрение за столом. Грамматикам приятно такое услышать. Они предпочтут похоронить газету — но в чистом синтаксисе.

Покончив с популистскими жестами, он продолжал в быстром темпе. Одним из его немногих удачных нововведений — возможно, пока единственным — было то, что он сократил ежедневные совещания с сорока до пятнадцати минут, мягко установив несколько правил: не больше пяти минут на упражнения заднего ума — что сделано, то сделано; никаких шуток за столом, и в особенности анекдотов, — он их не рассказывает, и другие не будут. Он обратился к международным страницам.

— Выставка черепков в Анкаре? Это — новость? Восемьсот слов? Я просто не понимаю, Фрэнк.

Фрэнк Диббен, заместитель редактора международного отдела, объяснил, возможно не без насмешки:

— Понимаете, Вернон, это подразумевает кардинальную смену парадигмы в наших воззрениях на влияние ранней Персидской империи на…

— Смены парадигмы в черепках — это не новости, Фрэнк.

Тут осторожно вмешался сидевший рядом с Верноном заместитель главного редактора Грант Макдональд.

— Дело в том, что Джули не прислала материал из Рима. Пришлось заполнить…

— Опять? Что на этот раз?

— Гепатит С.

— А из «Ассошиэйтед пресс»?

— Наш был интереснее, — сказал Диббен.

— Ошибаетесь. Это совершенный мусор. Его не дала бы даже «Таймс литерари сапплмент».

Перешли к сегодняшнему номеру. Редакторы по очереди дали резюме своих материалов. Когда дошло до Фрэнка, он предложил в качестве передовицы свой материал о Гармони. Вернон выслушал его и ответил:

— Он в Вашингтоне, хотя должен быть в Брюсселе. Устраивает сделку с американцами за спиной у немцев. Сиюминутная выгода — с катастрофическими последствиями. Он был ужасным министром внутренних дел; как министр иностранных дел он еще хуже, а сделавшись премьером, к чему, похоже, дело и идет, он станет нашей погибелью.

— Все так, — согласился Фрэнк, за мирным тоном пряча ярость по поводу зарубленной статьи об Анкаре. — Все это вы изложили в своей передовице, Вернон. Но суть не в том, согласны ли мы со сделкой, а в том, важна ли она.

Вернон спрашивал себя, в силах ли он оставить Фрэнка в покое. Что он там — серьгу носит?

— Вот именно, Фрэнк, — сердечно произнес Вернон. — Мы в Европе. И американцы хотят, чтоб мы были в Европе. Особые отношения — достояние истории. Сделка *не* важна. Сообщение о ней пойдет на внутренних страницах. А Гармони между тем мы по-прежнему будем делать неприятно.

Они выслушали спортивного редактора, чей раздел Вернон недавно увеличил вдвое за счет искусства и литературы. Настал черед Леттис О'Хары, заведующей отделом очерков.

— Я хочу знать: мы даем о детском доме в Уэльсе?

Вернон сказал:

— Я видел список гостей. Много важных шишек. Суды нас разорят, если что-то будет не так.

На лице Леттис выразилось облегчение, и она перешла к организованному ею журналистскому расследованию медицинского скандала в Голландии.

— По-видимому, есть врачи, пользующиеся законами об эвтаназии для…

Вернон перебил ее:

— Сиамских близнецов надо будет дать в пятницу.

Послышались стоны. Но кто возразит первым?

Леттис:

— У нас даже нет фото.

— Так пошлите кого-нибудь в Миддлсбро сегодня же. — Наступило угрюмое молчание, и Вернон продолжал: — Слушайте, они работают в местном санитарном управлении, в отделе перспективного планирования. Мечта редактора.

Редактор внутренних новостей Джереми Болл сказал:

— Мы договорились на прошлой неделе, и все было в порядке. А вчера он звонит. То есть другая половина. Другая голова. Разговаривать не хочет. Фотографироваться не хочет.

— О господи! — воскликнул Вернон. — Неужели не ясно? Как раз то, что надо. Они рассорились. Ведь первым делом каждому хочется знать: как они улаживают споры?

Леттис смотрела хмуро.

— Кажется, есть следы укусов, — сказала она. — На обоих лицах.

— Великолепно! — закричал Вернон. — До них еще никто не добрался. В пятницу, пожалуйста. Третья полоса. Продолжим. Леттис. Шахматное приложение на восьмой странице. Честно говоря, не убежден.

2

Прошло еще три часа, прежде чем Вернон снова остался наедине с собой. Он был в туалете; глядя в зеркало, мыл руки. Отражение было на месте, но не вполне убеждало. Ощущение — или неощутимость — по-прежнему справа, как тугая шапка. Проводя пальцем по черепу, он мог определить границу, разделительную линию, где ощущение в левой части головы сменялось не то чтобы своей противоположностью, но своей тенью — или своим призраком.

Пока он держал руки под сушилкой, вошел Фрэнк Диббен. Вернон понял, что молодой человек явился сюда поговорить, ибо по опыту всей жизни знал, что мужчине-журналисту нелегко и нежелательно мочиться при главном редакторе.

— Послушайте, Вернон, — сказал Фрэнк, став перед писсуаром. — Прошу извинить за утреннее. Вы совершенно правы в отношении Гармони. Моя оплошность.

Чтобы не оглядываться и не наблюдать за отправлениями заместителя международного редактора, Вернон еще раз включил горячий воздух. Диббен в самом деле облегчался обильно, даже оглушительно. Да, если Вернон кого и

уволит, то Фрэнка, который энергично между тем отряхивался, чуть дольше, чем следовало, и продолжал свою апологию.

— Да, вы были совершенно правы — не надо уделять ему слишком много места.

«Голодный блеск у Кассия в глазах,[14] — подумал Вернон. — Возглавит свой отдел, потом захочет на мое место».

Диббен подошел к умывальнику. Вернон тронул его за плечо — прощая.

— Ничего, Фрэнк. Предпочитаю выслушать противоположное мнение на совещании. В этом весь смысл.

— Очень мило с вашей стороны, Вернон. Не подумайте, пожалуйста, что я собирался миндальничать с Гармони.

Этот фестиваль обращений друг к другу по имени знаменовал конец беседы. С коротким ободряющим смешком Вернон вышел в коридор. Прямо за дверью его дожидалась Джин с пачкой писем на подпись. За ней стоял Джереми Болл, за ним — Тони Монтано, директор-распорядитель. Кого-то еще, подошедшего к очереди сзади, Вернон не разглядел. Главный редактор дви-

---

[14] Примечания: 14

«А Кассий тощ, в глазах холодный блеск» (Шекспир, «Юлий Цезарь». Пер. М. Зенкевича).

нулся к кабинету, на ходу подписывая письма, а Джин перечисляла ему встречи, назначенные на эту неделю. Все двигались вместе с ним. Болл говорил:

— С этим фото из Миддлсбро. Я не хотел бы таких же неприятностей, как с Олимпиадой инвалидов. Я думаю, нужно фото без затей…

— Мне нужен будоражащий снимок, Джереми. Джин, я не могу встретиться с обоими в одну неделю. Это будет плохо выглядеть. Скажите ему — в четверг.

— Мне виделось строгое, в викторианском духе. Портрет с достоинством.

— Он улетает в Анголу. Предполагалось, что поедет в Хитроу прямо после встречи с вами.

— Мистер Холлидей?

— Мне не нужны портреты с достоинством, даже в некрологах. Пусть покажут нам, откуда у них укусы на лицах. Ладно, встречусь с ним перед отлетом. Тони, вы насчет стоянки?

— Боюсь, что видел черновик его заявления об уходе.

— Неужели нельзя найти место для одной машины?

— Мы все испробовали. Заведующий хозяйством предлагает продать свое за три тысячи

фунтов.

— Не рискуем ли мы впасть в сенсационность?

— Подпишите в двух местах, и, где я отметила, — инициалами.

— Это не риск, Джереми. Это обещание. Подождите, Тони: у заведующего даже нет машины.

— Мистер Холлидей?

— Но место — его законное.

— Предложите ему пятьсот. Это все, Джин?

— Я не готов к этому.

— Письмо с благодарностями епископам сейчас печатается.

— А что, если такой: оба говорят по телефону?

— Прошу прощения. Мистер Холлидей…

— Слабо. Мне нужно красноречивое фото. Пачкать руки — помните? Выкиньте заведующего со стоянки, раз он не пользуется.

— Забастуют, как в прошлый раз. Выключились все терминалы.

— Прекрасно. На ваш выбор, Тони. Пятьсот фунтов или терминалы.

— Я попрошу зайти кого-нибудь из фотоотдела и…

— Не затрудняйтесь. Просто пошлите в Миддлсбро фотографа.

— Мистер Холлидей? Вы — мистер Вернон

Холлидей?

— А вы кто?

Группа остановилась и умолкла, сквозь нее протолкался худой плешивый мужчина в черном костюме, туго застегнутом на все пуговицы, постучал Вернона по локтю конвертом и вручил конверт. Затем, широко расставив ноги и держа перед собой обеими руками листок, монотонно продекламировал напечатанный на нем текст. «Властью, возложенной на меня означенным выше Судом в Главной канцелярии, довожу до вас, Вернон Теобальд Холлидей, следующий приказ названного Суда: Вернону Теобальду Холлидею, главному редактору газеты „Джадж“, проживающему по адресу: Рукс, 13, Лондон С31, запрещается публиковать или побуждать к публикации, а также распространять или размножать электронными или какими-либо иными средствами, а также описывать в печати или побуждать к таковым его описаниям запрещенный материал, именуемый в дальнейшем Материалом, а также описывать характер и детали данного приказа. Названным Материалом являются…»

Тощий судебный пристав перевернул лист, а редактор, его секретарша, редактор местных новостей, заместитель заведующего между-

народным отделом и технический директор склонились к нему, ожидая продолжения.

«…все фотографические изображения, а также гравированные, рисованные, выполненные в красках или какими-либо иными средствами репродукции фотографических изображений мистера Джона Джулиана Гармони, проживающего по адресу: Карлтон-Гарденс, 1…»

— Гармони!

Все заговорили разом, и последние канцелярские фиоритуры тощего утонули в гаме. Вернон направился к своему кабинету. Постановление всеобъемлющее. Но у них ничего нет на Гармони, совсем ничего. Он вошел в кабинет, ногой захлопнул дверь и набрал номер.

— Джордж. Это фотографии Гармони?

— Ничего не скажу, пока не приедете.

— Он уже вручил судебный запрет.

— Я же сказал — острое блюдо. Думаю, аргументация интересами общества суд убедит.

Едва Вернон положил трубку, как зазвонил его личный телефон. Клайв Линли. Вернон не видел его со дня похорон.

— Мне надо кое о чем с тобой поговорить.

— Клайв, сейчас не самая удобная минута.

— Ну конечно. Мне надо тебя *видеть.* Это важ-

но. Может быть, вечером после работы?

В голосе старого друга звучала хмурая настойчивость, и Вернону неловко было ему отказывать. Все же он попытался, хотя и нерешительно.

— Довольно суматошный день.

— Ненадолго. Это важно — в самом деле важно.

— Хорошо. Вечером мне надо быть у Джорджа. Может быть, загляну к тебе по дороге.

— Вернон, я тебе очень признателен.

После звонка у него еще оставалось несколько секунд, чтобы подумать о непривычном тоне друга. Настойчивый, с печалью и несколько официальный. Ясно, случилось что-то ужасное; Вернону стало стыдно за свою неотзывчивость. Клайв показал себя настоящим другом, когда распался второй брак Вернона; Клайв благословлял Вернона на борьбу за редакторский пост, когда все думали, что это пустая трата времени. Четыре года назад, когда Вернон слег с редкой инфекцией позвоночника, Клайв навещал его почти каждый день, приносил книги, музыку, видео и шампанское. А в 1987-м, когда Вернон несколько месяцев был без работы, Клайв одолжил ему десять тысяч фунтов. Через два года Вернон случайно выяснил, что эти деньги Клайв занял у своего банка.

А теперь, когда друг нуждается в нем, он повел себя как свинья.

Он набрал номер Клайва; никто не ответил. Он хотел набрать еще раз, но тут вошел директор-распорядитель с юристом газеты.

— У вас есть что-то на Гармони, а вы нам не говорите.

— Ничего нет, Тони. Видимо, что-то всплыло, и он запаниковал. Надо бы проверить, послан ли запрет еще кому-нибудь.

— Проверили, — сказал юрист. — Никому.

Тони смотрел недоверчиво.

— И вы ничего не знаете?

— Абсолютно. Как гром среди ясного неба.

Подозрительные расспросы продолжились, Вернон продолжал отказываться. Перед уходом Тони сказал:

— Вы ведь ничего не станете предпринимать без нас, правда, Вернон?

— Вы меня знаете, — ответил он и подмигнул. Как только они вышли, он взял трубку и стал набирать номер Клайва, но в это время за дверью послышался шум. Дверь распахнули ногой, вбежала женщина и по пятам за ней — Джин, закатив глаза, чтобы видно было начальнику. Женщина стояла перед его столом и плакала. В

руке у нее было скомканное письмо. Это была малограмотная литсотрудница. Понять, что она говорит, было трудно, но одну повторяющуюся фразу Вернон разобрал.

— Вы сказали, что не сдадите меня. Вы *обещали!*

Он еще не знал этого, но несколько секунд, предшествовавших ее появлению, были последними, когда он оставался наедине с собой, — вплоть до самого ухода в половине десятого вечера.

3

Молли не раз говорила, что больше всего ей нравится в доме Клайва то, что он так долго в нем прожил. В 1970 году, когда большинство его сверстников снимали комнаты и до покупки первых сырых квартир в цокольных этажах им оставалось еще несколько лет, Клайв получил в наследство от богатого бездетного дяди гигантскую оштукатуренную виллу с двухэтажной художественной мастерской на третьем и четвертом этажах, чьи громадные сводчатые окна глядели на север, на чащу островерхих крыш. В духе времени и по молодости лет — ему был двадцать один год — он покрасил дом снаружи в пурпурный цвет, а внутренность заполнил

друзьями, по большей части музыкантами. Через дом прошли кое-какие знаменитости. Тут прожили неделю Джон Леннон и Йоко Оно. Джимми Хендрикс провел ночь и, по-видимому, был виновником пожара, уничтожившего перила. К концу десятилетия дом стал успокаиваться. Друзья еще останавливались здесь, но только на ночь-другую, и на полу никто не спал. Дом снова окрасили в кремовый цвет, Вернон обитал в нем год, Молли прожила лето, рояль подняли в мастерскую, построили полки, поверх вытертых ковров постелили новые восточные, привезли викторианскую мебель. Кроме нескольких старых матрасов, почти ничего не выбрасывалось — это, наверно, и нравилось Молли, ибо дом был историей взрослой жизни, меняющихся вкусов, угасавших страстей, растущего богатства. Первые ножи и вилки из «Вулвортса»[15] соседствовали в кухонном ящике с антикварным серебром. Холсты английских и датских импрессионистов висели рядом с выцветшими афишами ранних триумфов Клайва и знаменитых рок-концертов — «Битлз» на стадионе

[15] Примечания: 15

«Вулвортс» — типовой универсальный магазин, торгующий товарами широкого потребления.

Шиа,[16] Боба Дилана на острове Уайт, «Роллинг стоунз» в Алтамонте. Некоторые афиши стоили дороже картин. В начале 80-х годов это был дом довольно молодого богатого композитора — к тому времени Клайв успел написать музыку для знаменитого фильма Дейва Спилера «Рождество на Луне», и уже некая величавость — так казалось Клайву в счастливые минуты — нисходила с высоких сумрачных потолков на громадные ухабистые диваны и прочую мебель — не вполне антиквариат и не вполне рухлядь, — купленную на Лотс-роуд. Дух серьезности упрочился, когда за поддержание порядка взялась энергичная экономка. Не вполне рухлядь была отчищена и отполирована и приняла вид антикварной. Съехал последний из постояльцев, и в доме установилась рабочая тишина. За несколько лет Клайв без особых повреждений промчался сквозь два бездетных брака. Три женщины, которых он близко знал, жили за границей. Нынешняя, Сюзи Марселлан, была в Нью-Йорке и приезжала всякий раз ненадолго. Годы и успехи сузили его жизнь и сфокусировали на высшей цели; затворником он еще не стал, но от общения с людьми

---

[16] Примечания: 16
Стадион Шиа находится в Куинсе, Нью-Йорк.

уклонялся. Журналисты и фотографы больше не приглашались, и давно прошли те дни, когда Клайв урывками, между друзьями, любовницами и приемами неожиданно сочинял какое-нибудь дерзкое вступление или целую песню. Дом перестал быть открытым.

Но Вернон по-прежнему посещал его с удовольствием: здесь он когда-то взрослел, и у него сохранились только приятные воспоминания о подругах, веселых шумных вечерах с разнообразными наркотиками и работе ночами напролет в уединенной спаленке. В эпоху пишущих машинок и копирки. Даже теперь, выйдя из такси и поднимаясь по лестнице, он вновь испытывал, пусть и без прежней остроты, то чувство, которое совсем не посещало его в последние годы: предвкушение встречи с неожиданным.

Когда Клайв открыл дверь, Вернон не увидел никаких явных признаков беды или кризиса. Друзья обнялись в прихожей.

— В холодильнике есть шампанское.

Клайв взял бутылку и два бокала, и Вернон стал подниматься вслед за ним по лестнице. Все в доме дышало нелюдимостью, и Вернон предположил, что хозяин уже дня два не выходит на улицу. В спальне за полуоткрытой дверью — кавардак. Во

время напряженной работы Клайв иногда просил экономку не приходить. Вид студии подтвердил впечатления гостя. На полу валялись листки рукописи; грязные тарелки, фужеры и чашки окружали рояль, клавиатуру и большой компьютер, на котором Клайв иногда делал оркестровки. Воздух был спертый и влажный, словно много раз прошел через легкие.

— Извини за беспорядок.

Вдвоем они разгрузили кресла от книг и бумаг, уселись с шампанским и начали с необязательной болтовни. Клайв рассказал о своей встрече с Гармони на похоронах.

— Министр в самом деле послал тебя к чертовой матери? — спросил Вернон. — Мы могли бы вставить это в наш дневник.

— Вполне. Хотя стараюсь ни с кем не сталкиваться.

Коль скоро речь зашла о Гармони, Вернон изложил два своих утренних разговора с Джорджем Лейном. Такого рода история должна была бы показаться Клайву любопытной, но он не проявил интереса ни к фотографиям, ни к судебному запрету и слушал, казалось, вполуха. Едва Вернон кончил, Клайв поднялся из кресла. Он снова наполнил бокалы. Тяжелое молчание предвещало

смену темы. Клайв отошел в дальний конец студии, осторожно потирая левую ладонь.

— Я думал о Молли, — наконец сказал он. — Как она умерла, с какой быстротой, о ее беспомощности и о том, что она не пожелала бы себе такой смерти. Мы с тобой об этом говорили.

Он умолк. Вернон отпил и ждал продолжения.

— Дело вот какое. Я тут тоже слегка напугался. — Он повысил голос, предупреждая сочувственные расспросы. — Наверно, зря. Знаешь, ночью от таких мыслей бросает в пот, а при свете дня все кажется вздором. Но я о другом. Это почти наверняка ничего не значит, но беды не будет, если все-таки тебя попрошу. Если я вдруг основательно заболею, как Молли, начну распадаться, делать ужасные ошибки, потеряю способность разумно судить, стану забывать названия предметов, забывать, кто я такой, — словом, ясно. Я бы хотел быть уверен, что есть человек, который поможет мне покончить с этим… То есть умереть. Особенно если дойдет до того, что сам не смогу принять такого решения — или выполнить его. Так вот что я говорю — я прошу тебя как старого друга помочь мне, если увидишь, что это нужно. Как мы помогли бы Молли, если б могли…

Клайв не закончил, слегка расстроившись

оттого, что Вернон глядел на него с поднятым бокалом, замерев в процессе питья. Клайв громко откашлялся.

— Я понимаю, просьба странная. Это противозаконно у нас в стране, и я не хотел бы ссорить тебя с законом — предполагая, конечно, что ты скажешь «да». Но есть способы и есть места, и если до этого дойдет, я хотел бы, чтобы ты доставил меня туда на самолете. Это трудное дело, и я могу попросить о нем только близкого друга, такого как ты. Одно скажу: я не паникую, ничего подобного. Я крепко об этом подумал.

Затем, поскольку Вернон все так же сидел и глядел на него молча, Клайв смущенно добавил:

— Ну вот и все.

Вернон поставил бокал, почесал в затылке и встал.

— Ты не хочешь рассказать, что тебя испугало?

— Совсем не хочу.

Вернон взглянул на свои часы. Он опаздывал к Джорджу.

— Да, ничего себе просьба. Надо подумать.

Клайв кивнул. Вернон пошел к двери и первым стал спускаться по лестнице. В прихожей они опять обнялись. Клайв открыл дверь, и Вернон ступил в темноту.

— Я должен подумать.

— Конечно. Спасибо, что зашел.

Оба сочли, что характер просьбы, ее интимность, смущающий свет, пролитый ею на их дружбу, создали сейчас обременительную эмоциональную близость, с которой лучше всего обойтись, расставшись без дальнейших объяснений; Вернон быстро пошел по улице искать такси, а Клайв вернулся наверх, к роялю.

4

Лейн сам открыл ему дверь особняка на Холланд-Парк.

— Опаздываете.

Решив, что Джордж разыгрывает из себя газетного магната, вызвавшего редактора, Вернон не пожелал извиниться и даже ответить и прошел за хозяином через ярко освещенную переднюю в гостиную. К счастью, тут ничто не напоминало о Молли. Комната была обставлена, как она однажды выразилась, в стиле Букингемского дворца: толстые, горчичного цвета ковры, большие грязно-розовые диваны, кресла с выпуклым узором в виде лоз и свитков, коричневая живопись со скаковыми лошадьми на пастбищах, копии Фрагонаров с буколическими дамами на

качелях в колоссальных золотых рамах, и вся эта обильная пустота залита светом лакированных латунных ламп. Джордж подошел к сложенной из мраморных глыб ограде газового, с имитацией углей камина и обернулся.

— Портвейну?

Вернон вспомнил, что после сэндвича с сыром и салатом в обеденный перерыв ничего не ел. Иначе почему бы его так раздражали претенциозные построения Джорджа. И чего ради он напялил шелковый халат поверх дневной одежды? Он просто нелеп.

— Спасибо, выпью.

Они разместились метрах в семи друг от друга, с шипящим камином между. «Останься я тут один хоть на полминуты, — подумал Вернон, — подполз бы к решетке и стукнулся об нее правым виском». Даже в обществе постороннего ему было не по себе.

— Я видел Реестр национальной тиражной службы, — важно сказал Лейн. — С тиражом худо.

— Падение тиража замедляется, — готов был автоматический ответ Вернона, его мантра.

— Но все-таки — падение.

— Перелома нельзя ожидать сразу. — Вернон

пригубил портвейн и оборонился мыслью о том, что Джордж владеет всего полутора процентами газеты и ничего в профессии не понимает. Кстати было вспомнить также, что его состояние, его издательская «империя» зиждется на энергичной эксплуатации недоумков: тайные цифровые шифры в Библии предсказывают будущее, инков окликали из космоса, Святой Грааль, Ковчег завета, Второе пришествие, Третий глаз, Седьмая печать, Гитлер жив и здравствует в Перу. Когда Джордж учит тебя жить, это выдержать трудно.

— Мне кажется, — говорил он, — вам нужна сейчас громкая история, чтобы пошла пожаром, чтобы конкуренты были вынуждены подхватить ее, дабы не отстать.

Дабы остановить падение тиража, надобно добиться роста тиража. Однако Вернон хранил невозмутимость, понимая, что Джордж исподволь подбирается к фотографиям.

Вернон попытался ускорить процесс:

— У нас есть на пятницу хороший материал о сиамских близнецах, работниках местной администрации.

— Фэ!

Сработало. Джордж вдруг вскочил.

— Это не материал, Вернон. Это детские иг-

рушки. *Я* покажу вам материал. Покажу, почему Гармони бегает вокруг адвокатских гильдий, заткнув пальцем задний проход. Пойдемте!

Они вернулись в переднюю и мимо кухни, по более узкому коридору, подошли к двери, запертой на американский замок. Одно из условий сложного брачного соглашения заключалось в том, что Молли живет, принимает своих гостей и держит свои вещи отдельно, в крыле дома. Ей не приходилось наблюдать, как ее старые друзья внутренне потешаются над напыщенностью мужа, а ему — тонуть в беспорядке, извергающемся из ее комнат в комнаты, предназначенные для приемов. Вернон много раз бывал у Молли, но всегда пользовался отдельным входом. Сейчас, когда Джордж отпер и распахнул дверь, Вернон напрягся. Он почувствовал, что не готов. Он предпочел бы смотреть фотографии на половине Джорджа.

В полутьме, пока Джордж несколько секунд искал выключатель, Вернон впервые ощутил со всей остротой смерть Молли — простой факт ее отсутствия. Толчком послужили знакомые, но уже забывавшиеся запахи — ее духов, ее сигарет, засохших цветов, которые она держала в спальне, кофейных зерен, хлебный теплый дух стираной

одежды. Он говорил о ней подолгу, он и думал о ней, — правда, урывками, в суете рабочих дней или засыпая, — но до этой минуты не тосковал по ней душой, не чувствовал обиды от того, что больше не увидит ее и не услышит. Она была другом, может быть лучшим в его жизни, — и ее не стало. Еще чуть-чуть, и он бы выставил себя дураком перед Джорджем, чьи очертания и так уже расплывались. Этого особого чувства покинутости, болезненного сдавления где-то над нёбом он не испытывал со времен детства, со школы. Тоска по Молли. И жалко себя; он спрятал всхлип за громким взрослым кашлем.

Комната сохранилась в том виде, в каком ее оставила Молли, когда согласилась переехать в спальню главной части дома, под надзор Джорджа. Проходя мимо ванной, Вернон увидел знакомую юбку на вешалке для полотенец, а на полу — полотенце и бюстгальтер. Четверть с лишним века назад они с Молли год прожили вместе, в крохотной квартирке под крышей на Рю-де-Сен. Там на полу всегда лежали сырые полотенца, водопады нижнего белья низвергались из вечно не закрытых ящиков, никогда не складывалась большая гладильная доска, и в переполненном гардеробе, стиснутые и покосившиеся, как пас-

сажиры в метро, висели платья. Журналы, грим, банковские выписки, бусы, цветы, штаны, пепельницы, тампоны, пластинки, авиабилеты, туфли на высоких каблуках — не было ни одной поверхности, не заваленной вещами Молли, так что, когда Вернону полагалось работать дома, он уходил писать в кафе на их улице. И однако каждое утро она восставала из раковины этого девичьего хаоса свежей, как Венера Боттичелли, чтобы явиться, не голой, конечно, но прибранной и лощеной в редакцию парижского «Вога».

— Сюда, — сказал Джордж и ввел его в гостиную.

На кресле лежал большой коричневый конверт. Пока Джордж поднимал его, Вернон успел оглядеться. Она могла войти сюда в любую секунду. На полу лицом вниз лежала книга об итальянских садах; на низком столике стояли три винных бокала с подбивкой серо-зеленой плесени. Из одного, быть может, пил он сам. Он попробовал вспомнить свой последний визит, но они сливались. Были долгие разговоры о ее переезде в главную часть дома — Молли страшилась его и сопротивлялась, зная, что это дорога в один конец. Другим вариантом был приют. Вернон и все ее друзья и подруги советовали остаться дома,

полагая, что в привычном месте ей будет легче. Как же они ошиблись. Даже при самом строгом режиме в заведении ей было бы свободней, чем под опекой Джорджа.

Он показал Вернону на кресло и, упиваясь минутой, извлек фотографии из конверта. Вернон все еще думал о Молли. Бывали в ее меркнущем сознании просветы, когда она понимала, что покинута друзьями, что к ней больше не ходят? Она не знала, что их не пускает Джордж, — и если проклинала друзей, то непременно прокляла и Вернона.

Джордж положил фотографии — три штуки, 20 X 25 — себе на колени, лицом вниз. Он наслаждался молчанием Вернона, истолковав его как безмолвное нетерпение. И продлевал предполагаемую муку медленным подробным предисловием.

— Прежде всего скажу следующее. Я понятия не имею, зачем она их сделала, но несомненно одно. Они могли быть сделаны только с согласия Гармони. Он смотрит прямо в объектив. Авторские права принадлежали ей, и я, как единственный распорядитель ее наследства, являюсь их фактическим собственником. Само собой разумеется, я ожидаю, что «Джадж» не раскроет своих ис-

точников.

Он взял один снимок и отдал Вернону. В первое мгновение этот черно-белый глянец показался совершенно невразумительным; потом очертился погрудный портрет. Невероятно. Вернон протянул руку за вторым — в рост и с обрезанным фоном; затем последний — в полупрофиль. Он снова обратился к первому снимку; все посторонние мысли отлетели. Потом рассмотрел второй и третий, на этот раз осмысленно и ощущая отчетливо смену своих реакций: сперва изумление, а после безумный внутренний смех. Он подавил его с таким усилием, что ему показалось, будто он поднимается в воздух над креслом. Затем ощутил груз ответственности — или власти? Жизнь человека или, по крайней мере, карьера — в его руках. И кто знает, может быть, ему суждено изменить к лучшему будущее страны. И тираж его газеты.

— Джордж, — сказал он наконец, — я должен основательно подумать.

5

Получасом позже Вернон вышел от Лейна с конвертом в руках. Он остановил такси, попросил водителя включить счетчик и не трогаться с обочины и несколько минут сидел сзади, успо-

каиваясь от рокота двигателя, массируя правую часть головы и раздумывая, что делать. Наконец велел ехать в Южный Кенсингтон.

В студии горел свет, но Вернон не стал звонить в дверь. На крыльце он написал записку, нарочно невнятную, поскольку решил, что экономка прочтет ее первой. Сложив ее вчетверо, сунул под дверь и сбежал к машине. *Да, но при одном условии: если ты сделаешь то же для меня. В.*

III

1

Как и предвидел Клайв, мелодия не давалась ему, пока он сидел в Лондоне, в своей студии. Каждый день он делал попытки — короткие наброски, смелые вылазки, но получались лишь цитаты — переодетые или прозрачные — из самого себя. Ничто не изливалось свободно в собственную форму, собственной волей, чтобы сообщить пассажу элемент неожиданного, который только и мог обеспечить оригинальность. Каждый день, бросив попытки, он переходил к более простой, более рутинной работе — обогащал оркестровку, переписывал исчирканные страницы, переделывал разрешение минорных аккордов, которыми открывалась медленная часть. Три встречи, равномерно распределенные на восемь дней, задерживали его отъезд в Озерный край: еще несколько месяцев назад он пообещал присутствовать на благотворительном обеде; в виде одолжения племяннику, работавшему на радио, он пообещал пятиминутное выступление; поддавшись уговорам, он согласился быть судьей на

конкурсе сочинений в местной школе. И наконец, отложил отъезд еще на день потому, что его попросил о встрече Вернон.

В эти дни, когда не работал, он изучал карты, смазывал свои туристские ботинки, проверял снаряжение — дело ответственное, если планируешь зимний поход в горах. Можно было бы уклониться от общественных обязанностей, приняв позу стихийного художника, но Клайв не переносил такого чванства. Некоторые его приятели прекрасно разыгрывали гениев, когда им было удобно, — не появляясь там, где их ждали, и полагая, что всякий местный переполох только придаст веса их высокому призванию, поглощающему человека целиком. Эти люди — хуже всех были романисты — умели внушить друзьям и родным, что не только их рабочие часы, но и всякая прогулка и послеобеденный сон, всякий приступ молчаливости, депрессии или пьянка оправданы возвышенной целью. Маска посредственности, считал Клайв. Он не сомневался в возвышенности призвания — но дурные замашки не являются его частью. Возможно, в каждом веке для кого-то надо было сделать исключение; для Бетховена — да; для Дилана Томаса — *определенно нет.*

Он никому не сказал, что застрял с симфонией. Он говорил, что хочет устроить себе короткий отпуск, прогуляться. Да он и сам не считал, что у него затор. Иногда работа затрудняется, и надо делать то, что, по твоему опыту, приносит наибольшую пользу. И вот он остался в Лондоне, присутствовал на обеде, выступил по радио, присудил приз и впервые в жизни резко разошелся с Верноном. Только 1 марта он приехал на Юстонский вокзал и нашел пустое купе первого класса в поезде до Пенрита.

Долгие поездки по железной дороге он любил за успокаивающий ритм, который они сообщали его мыслям, — как раз то, что было нужно ему после столкновения с Верноном. Но расположиться в купе удалось не так быстро, как следовало бы. Шагая по платформе в мрачном настроении, он почувствовал, что походка у него неровная, как будто одна нога стала длиннее другой. Он сел, снял ботинок и обнаружил черный шматок жвачки, вдавившийся в зигзагообразные канавки подошвы. Поезд уже тронулся, а он все еще выковыривал, вырезал, выскребал ее перочинным ножом, брезгливо вздернув губу. Под черной патиной резинка была розоватой, как тело, и еще попахивала мятой. Как отвратителен этот

интимный контакт с содержимым чужого рта и беспредельна низость этих жвачных, плюющихся жвачкой где попало. Он вымыл в туалете руки, потом, вернувшись, несколько минут искал очки для чтения, прежде чем обнаружил их на сиденье рядом с собой, после чего оказалось, что он не взял ручку. Когда наконец он устремил взгляд в окно, им овладела привычная мизантропия, и в проплывавшем мимо застроенном ландшафте он не увидел ничего, кроме уродства и бессмысленной активности. В своем уголке западного Лондона и в будничной сосредоточенности на своих делах Клайву было легко думать о цивилизации как о сумме всех искусств с дополнением в виде интерьера, кулинарии, хорошего вина и тому подобного. Теперь же она представлялась тем, чем была в действительности: квадратными километрами убогих современных домишек, чье главное назначение — поддерживать телевизионные антенны и тарелки; фабриками, производящими барахло, рекламируемое по телевизору, и, на унылых пустырях, — очередями грузовиков, ждущих, чтобы это барахло развезти. Похоже на похмельное утро после шумной вечеринки. Никто такого не хотел, но никого и не спрашивали. Никто этого не планировал, никто

не желал, но большинство людей вынуждены в этом жить. Километр за километром — глядя на них, можно ли представить себе, что существовало на свете благородное воображение, Перселл или Бриттен, Мильтон или Шекспир? Поезд набирал ход, уносился от Лондона, и уже показывалась иногда природа, а с ней — намеки на красоту, но через несколько секунд — опять река, загнанная в бетонный шлюз, или вдруг сельскохозяйственная пустошь без изгородей и деревьев — и дороги, новые дороги, бесстыдно сующиеся во все стороны, словно нет ничего важнее на свете, чем попасть туда, где тебя еще нет. Что касается благополучия всех остальных форм жизни на земле, человеческий проект оказался не просто неудачей — он был ошибкой с самого начала.

И если кто тут виноват, то — Вернон. Клайв часто ездил по этой дороге, но прежде пейзаж его не угнетал. Ни на жвачку, ни на забытую ручку он не мог это списать. Их ссора накануне вечером еще звучала в его ушах; он опасался, что эти отзвуки будут преследовать его и в горах, лишат покоя. И не просто гул голосов до сих пор жил в нем, а тревога, вызванная поведением друга, и крепнущее понимание того, что он никогда

по-настоящему не знал Вернона. Он отвернулся от окна. Подумать только, всего неделю назад он обратился к другу с самой необычной интимной просьбой. Какой же это было ошибкой — тем более что онемение в левой руке теперь совсем прошло. Просто дурацкий испуг под впечатлением от похорон Молли. Накатывает же иногда страх смерти. Но каким уязвимым сделал он себя в тот вечер. А что Вернон попросил о такой же услуге — утешение слабое; от него потребовалось всего-навсего сунуть записку под дверь. И это, должно быть, показательно для некоторого… неравновесия в их дружбе; оно существовало всегда, и Клайв чувствовал его сердцем, но всегда отмахивался от этого чувства, коря себя за недостойные подозрения. До нынешнего дня. Да, если вдуматься, вчерашнее столкновение не так уж удивительно, учитывая однобокость их дружбы.

Было время, например, когда Вернон год жил у него и ни разу не предложил платы. И разве не правда, что годами именно Клайв, а не Вернон обеспечивал музыку — во всех смыслах? Вино, еду, дом, компанию музыкантов и других интересных людей, поездки на отдых в Шотландию с веселыми друзьями, в горы северной Греции, на побережье Лонг-Айленда. Вернон когда-нибудь

предложил или устроил стоящее увеселение? Когда в последний раз Клайв был у Вернона в гостях? Три, а то и четыре года назад. Почему Вернон ни разу не поблагодарил как следует друга, занявшего крупную сумму, чтобы выручить его в трудный час? Когда у него заболел позвоночник, Клайв навещал его чуть ли не каждый день; а когда Клайв поскользнулся на тротуаре возле дома и сломал лодыжку, Вернон прислал секретаршу с сумкой макулатуры, валявшейся в отделе рецензий «Джаджа».

Грубо говоря, что принесла ему, Клайву, эта дружба? Он давал — но получал ли что-нибудь? Что их связывало? Общим у них была Молли, прожитые годы да привычки дружбы, а в сердцевине — ничего, ничего для Клайва. Снисходительно это неравновесие можно было объяснить пассивностью Вернона и эгоцентризмом. Но теперь, после вчерашнего, Клайв склонен был видеть здесь лишь детали более общего феномена — беспринципности друга.

За окном купе, невидимый Клайву, проплывал оголившийся лес с его зимней геометрией, посеребренной инеем. За ним медленно текла река, окаймленная бурой осокой, а дальше за поймой лежали озябшие пастбища в кружеве сложенных

всухую каменных стенок. На окраине ржавого города индустриальную пустыню снова превращали в лес; саженцы в пластиковых трубках выстроились почти до горизонта, где бульдозеры разравнивали почву. Но Клайв, уставясь на пустое место напротив, потел в жарких дебрях своей социальной бухгалтерии и сам не понимал того, как искажается и окрашивается прошлое, видимое сквозь призму скверного настроения. Иногда его отвлекали другие мысли, время от времени он принимался читать, но главной темой этой поездки на север был долгий и вдумчивый пересмотр дружбы.

Несколькими часами позже, в Пенрите, он с облегчением оставил эти мысли и с сумками пошел по платформе к такси. До Стоунтуэйта было больше тридцати километров, и он радостно отдался болтовне с шофером. День был будний, да и не сезон, так что в гостинице он оказался единственным постояльцем. Он попросил комнату, в которой уже селился раза три или четыре прежде, — единственную, где был стол для работы. Начал распаковывать сумки и, хотя было холодно, распахнул окно, чтобы подышать особенным зимним воздухом Озерного края: торфяная вода, сырой камень, замшелая земля. Потом ел в баре

один под взглядом чучела лисы, хищно пригнувшейся в стеклянном ящике. Прошелся в полной темноте вокруг гостиничной стоянки, вернулся в дом, пожелал официантке спокойной ночи и ушел в свой маленький номер. Час читал, а потом лежал в темноте и вслушивался в бурный шум вздувшегося ручья, зная, что тема его размышлений непременно вернется и лучше разобраться с ней сейчас, чем тащить ее с собой в поход завтра. Тут были и воспоминания о разговоре, и кое-что кроме: что было сказано и что он хотел бы сказать Вернону теперь, после многочасовых раздумий. Воспоминания, но еще и фантазии: он воображал драму, где лучшие реплики взял себе — звонкие, печально-рассудительные реплики с обвинениями, звучащими сурово и неопровержимо именно благодаря их лаконизму и сдержанности.

2

А было так: Вернон позвонил поздним утром и произнес слова, настолько близкие к тем, которые Клайв сказал неделю назад, что они прозвучали как преднамеренная цитата, как шутливое требование вернуть долг. Вернону надо с ним поговорить, по телефону нельзя, им надо *увидеться,* и непременно сегодня.

Клайв колебался. У него был план поехать в Пенрит дневным поездом, однако он сказал:

— Ладно, приезжай, приготовлю ужин.

Он отложил отъезд, принес из подвала две бутылки хорошего бургундского и занялся стряпней. Вернон опоздал на час, и Клайву сначала показалось, что его друг похудел. Лицо было осунувшееся и небритое, пальто висело мешком, и, когда он поставил портфель, чтобы взять бокал с вином, рука у него дрожала.

Вернон проглотил шамбертен «Кло-де-Без», как пиво, и сказал:

— Что за неделя, жуткая неделя.

Он протянул бокал за добавкой, и Клайв налил, радуясь, что это не ришебур.

— Утром три часа провели в суде — выиграли. Казалось бы, и дело с концом. Но вся редакция против меня, почти поголовно. В газете содом. Чудо, что выпустили сегодня номер. Сейчас там собрание, и наверняка мне выразят недоверие. Правление и совет директоров стоят твердо, за них я спокоен. Так что бой не на жизнь, а на смерть.

Клайв показал на кресло, Вернон плюхнулся в него, поставил локти на кухонный стол, закрыл лицо ладонями и взвыл:

— Церемонные кретины. Я пытаюсь спасти их подтирочную газету, их рабочие места при унитазах. Они всего лишатся скорей, чем отдадут один паршивый эпитет. Они живут не в реальном мире. Они заслуживают того, чтобы сдохнуть с голоду.

Клайв совсем не понимал, о чем он говорит, но не вмешивался. Бокал Вернона снова был пуст, Клайв налил ему и отвернулся, чтобы вынуть из духовки двух цыплят. Вернон вскинул на колени портфель. Прежде чем открыть его, он глубоко вздохнул для успокоения и отпил шамбертена. Потом щелкнул замками и после короткой заминки заговорил уже тише:

— Слушай, я хочу твоего мнения не только потому, что тебя это касается и кое-что ты уже знаешь. А потому, что ты не газетчик и мне нужно мнение постороннего. Кажется, я с ума схожу…

Последнее он пробормотал себе и, сунув руку в портфель, извлек оттуда картонный конверт, а из конверта — три черно-белые фотографии. Клайв выключил конфорки под сковородками и сел. На первой фотографии, которую дал ему Вернон, Джулиан Гармони был снят в простом платье ниже колен, в позе манекенщицы на подиуме: руки чуть отставлены, одна нога перед

другой, колени слегка согнуты. Фальшивые груди под платьем были маленькие, и одна лямка лифчика вылезла. Лицо загримировано, но не слишком — его природная бледность сама была достаточно эффектна, а помада, нанесенная сердечком, придавала чувственность тонким недобрым губам. Волосы явно собственные — короткие, волнистые, на косой пробор, — и общее впечатление было ухоженности и одновременно распущенности, быковато-флегматичной. Ни маскарадом, ни озорством перед камерой тут не пахло. Напряженное, самоуглубленное выражение выдавало человека, застигнутого в состоянии сексуальной озабоченности. Взгляд, устремленный в объектив, был призывным. Освещение было продуманное, мягкое.

— Молли, — сказал Клайв, скорее про себя.

— Угадал с первой попытки, — отозвался Вернон. Он наблюдал за другом жадно, дожидаясь реакции, — и отчасти для того, чтобы скрыть свои мысли, Клайв продолжал разглядывать снимок. Раньше всего он почувствовал облегчение — из-за Молли. Загадка разрешилась. Вот что привлекало ее в Гармони — тайная жизнь, его уязвимость; доверие, которое должно было их сблизить. Старушка Молли. Выдумщица, иг-

рунья, она поощряла его, увлекала еще дальше в мечты, которые не могли сбыться в палате общин, и он знал, что может положиться на нее. Если бы ее не подкосила эта болезнь, она позаботилась бы о том, чтобы уничтожить снимки. Выходило ли это за пределы спальни? В рестораны других городов? Две девицы в загуле. Молли знала в этом толк. И в одежде, и в заведениях — и наслаждалась бы конспиративностью забавы, ее глупостью и беспутством. Клайв опять подумал о том, как любил ее.

— Ну? — сказал Вернон.

Предупреждая дальнейшие вопросы, Клайв протянул руку за другой фотографией. На этой Гармони, снятый по грудь, был одет во что-то более женственно-шелковистое. Вырез и проймы оторочены узким кружевом. Возможно, это была рубашка. Тут результат получился менее удачным: мужское естество проступало заметнее, открывая жалкость, несбыточные надежды дезориентированного существа. Искусное освещение не скрадывало костяка большой челюсти и выступающего кадыка. Внешность и представление Гармони о своей внешности, надо думать, сильно разнились. Они должны были бы выглядеть нелепыми и смешными, эти снимки;

они и были нелепыми, но Клайв ощутил что-то вроде почтительного страха. Как мало знаем мы друг о друге. Большая наша часть скрыта под водой, как у льдины, и обществу видна лишь надводная, холодная и белая личина. А тут был редкостный подводный вид частного смятенного человека, чье достоинство опрокинуто властными потребностями чистой фантазии, чистой мысли, неукротимой человеческой стихией — сознанием.

Клайв впервые задумался о том, каким образом можно питать добрые чувства к Гармони. Ему открыла это Молли. На третьем снимке он был в объемном жакете от Шанели и смотрел вниз; на экране воображения он виделся себе застенчиво-послушной женщиной, но посторонний видел лишь уклончивость. Не морочь себя — ты мужчина. Ему больше шло смотреть в объектив, выставляя напоказ свое притворство.

— Ну? — уже нетерпеливо повторил Вернон.

— Поразительно.

Клайв вернул фотографии.

Они еще стояли перед его глазами, и он не мог собраться с мыслями.

— Так ты сражаешься, чтобы не пропустить их в газету? — спросил он. Спросил, отчасти чтобы

подразнить, отчасти — чтобы оттянуть разговор начистоту.

Вернон уставился на него с изумлением:

— Ты с ума сошел? Это враг. Я же сказал тебе, мы добились отмены судебного запрета.

— Ах да, извини. Я не совсем понял.

— Мой план — опубликовать их на будущей неделе. Что скажешь?

Клайв откинулся в кресле и сцепил на затылке руки.

— Я скажу, — осторожно промолвил он, — скажу, что твоя редакция права. Это ужасный план.

— То есть?

— Это погубит его.

— Совершенно верно.

— Как человека.

— Ага.

Наступило молчание. В голове у Клайва роилось столько возражений, что одно заслоняло другое.

Вернон подвинул к нему пустой бокал и, когда он был налит, сказал:

— Не понимаю. Гармони — чистый яд. Ты сам сколько раз говорил.

— Он отвратителен.

— По слухам, в ноябре он намерен бороться за

кресло премьера. Если он возглавит правительство, для страны это будет кошмаром.

— Я тоже так считаю, — сказал Клайв. Вернон развел руками.

— Ну?

Снова пауза; Клайв разглядывал трещины на потолке, пытаясь сформулировать мысль. Наконец он произнес:

— Скажи мне. Ты считаешь в принципе неправильным, что мужчина одевается в женское платье?

Вернон закряхтел. Он уже вел себя как пьяный. Должно быть, выпил еще до приезда.

— Ну, Клайв!

Клайв продолжал:

— Когда-то ты был сторонником сексуальной революции. Ты заступался за голубых.

— Я не верю своим ушам.

— Ты защищал пьесы и фильмы, которым угрожал запрет. Еще в прошлом году ты выступал за этих кретинов, которых судили за то, что они прибивали свои яйца гвоздями.

Вернон поежился:

— Точнее, пенисы.

— Не ты ли с таким жаром отстаивал сексуальные свободы? В чем именно преступление

Гармони, которое следует обнародовать?

— Его лицемерие. Это же вешатель и бичеватель, столп семейной морали, гроза иммигрантов, искателей убежища, путешественников, маргиналов.

— К делу не относится, — сказал Клайв.

— Именно относится. Не мели ерунды.

— Если позволительно быть трансвеститом, то позволительно и расисту. *Расистом* быть непозволительно.

Вернон вздохнул с притворной жалостью.

— Послушай меня…

Но Клайв уже нашел риторический ход.

— Если позволительно быть трансвеститом, то позволительно и семейному человеку. Конечно, в частном порядке. Если позволительно…

— Клайв! Послушай меня. Ты целыми днями у себя в студии грезишь своими симфониями. Ты не представляешь себе, что поставлено на карту. Если не остановить Гармони сейчас, если в ноябре он станет премьером, в будущем году они вполне могут выиграть выборы. Еще пять лет! Еще больше людей за чертой бедности, еще больше заключенных в тюрьмах, больше бездомных, больше преступности, больше беспорядков вроде прошлогодних. Он будет проталкивать воинскую

повинность. Пострадает экология — ему важнее угодить своим друзьям-бизнесменам, чем подписать соглашения по глобальному потеплению. Он хочет выдернуть нас из Европы. Экономическая катастрофа! Тебя это все устраивает, — тут Вернон обвел жестом громадную кухню, — но для большинства людей…

— Осторожно, — проворчал Клайв. — Когда пьешь мое вино. — Он взял ришебур и наполнил бокал Вернона. — Сто пять фунтов бутылка.

Вернон залпом выпил полбокала.

— О том и речь. Уж не становишься ли ты сытым консерватором на старости лет?

Клайв ответил на эту шпильку своей:

— Знаешь, куда тебя занесло? Ты делаешь за Джорджа его работу. Тебя используют, Вернон, и я удивляюсь, что ты этого не понимаешь. Он ненавидит Гармони за его роман с Молли. Если бы у него было что-то на меня или на тебя, он бы тоже не преминул воспользоваться. — Клайв добавил: — А может, и есть. Он тебя не снимал? В водолазном костюме? Или в балетной пачке? Люди должны знать.

Вернон встал и спрятал конверт в портфель.

— Я пришел в надежде, что ты меня поддержишь. Или хотя бы выслушаешь с сочувствием.

Свинского глумления не ожидал.

Он вышел в переднюю. Клайв последовал за ним, но виноватым себя не чувствовал.

Вернон открыл дверь и обернулся. Выглядел он неумытым, раздавленным.

— Не понимаю, — тихо сказал он. — По-моему, ты не откровенен со мной. На самом деле — что тебя в этом не устраивает?

Возможно, вопрос был риторический. Клайв подошел шага на два и ответил:

— Из-за Молли. Мы не любили Гармони, а ей он нравился. Он доверял ей, и она уважала его доверие. Это было их частное дело. Это ее снимки, они не касаются ни меня, ни тебя, ни твоих читателей. То, что ты делаешь, было бы ей отвратительно. Если честно — ты ее предаешь.

Затем, чтобы Вернон лишился удовольствия закрыть перед его носом дверь, Клайв повернулся и ушел на кухню — есть в одиночестве свой ужин.

3

Перед гостиницей вдоль стены из рваного камня тянулась деревянная скамья. Утром после завтрака Клайв сел на нее, чтобы зашнуровать ботинки. Хотя ключевой элемент финала отсутствовал, две важные вещи благоприятствовали

его поискам. Первая — общего характера: Клайв ощущал оптимизм. Подготовительную работу он проделал в студии и, несмотря на недосып, радовался тому, что он снова в любимых местах. Вторая была конкретная: он точно знал, что ему нужно. В сущности, он отправлялся от результата: он чувствовал, что фрагменты и зерна темы кроются в том, что уже им написано. Как только нужное всплывет, он сразу его узнает. Для неподготовленного уха мелодия прозвучит так, словно предчувствие и созревание ее были заложены раньше в партитуре. Нахождение нот будет актом вдохновенного синтеза. Он как бы уже знал их, но еще не мог расслышать. Он чувствовал их обольстительную нежность и меланхолию. Он чувствовал их простоту — и образцом была, конечно, бетховенская ода «К радости». Взять самое начало: несколько ступеней вверх, несколько ступеней вниз. Могло быть детской песенкой. Полное отсутствие претензий, но какая духовная насыщенность. Клайв встал, чтобы взять сухой завтрак, который вынесла ему официантка. Возвышенную возложил он на себя миссию, высокую поставил цель. Бетховен. На гравийной стоянке он опустился на колени, чтобы засунуть сэндвичи с тертым сыром в рюкзак.

Вскинув рюкзак на плечо, он двинулся по тропе в долину. Ночью на озера надвинулся теплый фронт; иней на деревьях и на лугу у ручья растаял. Облачность была высокая и равномерно серая, свет рассеянный и чистый, тропа сухая. Трудно желать лучших условий в конце зимы. Он подсчитал, что у него есть восемь часов светлого времени, хотя если к сумеркам он успеет спуститься с гор в долину, то до дома можно добраться и с фонарем. Чтобы взойти на Скафелл-Пайк,[17] времени достаточно, но решение об этом он отложит до тех пор, пока не окажется на Эск-Хаусе.

В первый час, после того как Клайв повернул на юг, в долину Лангстрат, он, несмотря на свой оптимизм, ощущал тревожное стеснение, которое иногда охватывает человека, оставшегося один на один с природой. Он беспомощно погрузился в фантазии с детально развитым сюжетом о том, что кто-то прячется за скалой, намереваясь убить его. То и дело он оглядывался через плечо. Это было хорошо ему знакомо, потому что он часто

---

[17] Примечания: 17

Большинство названий здесь значащие, по крайней мере их вторые части: Пайк (Pike) — гора или холм с острой вершиной; Пасс (Pass) — седловина, перевал, дефиле; Хэд (Head) — верховье, исток; Фелл (Fell) — плато; Хаус (House) — гребень; Краг (Crag) — скала, утес; Тарн (Tarn) — горное озеро; Рейз (Raise) — подъем или возвышенность.

совершал такие пешие походы в одиночестве. Всегда приходилось преодолевать внутреннее сопротивление. Требовался волевой акт, борьба с инстинктом — чтобы идти прочь от ближайших людей, от крова, от тепла и помощи. Чувство масштаба, тренируемое каждодневно перспективами комнат и улиц, внезапно наталкивалось на колоссальную пустоту. Гребень над долиной был отлитой в камне морщиной насупившейся Земли. Шип и грохот потока был языком угрозы. Съеживающаяся душа и все его основные склонности говорили ему, что глупо и не нужно идти дальше, что он совершает ошибку. Клайв шел дальше потому, что эта съеженность, дурное предчувствие были именно тем состоянием — болезненным, — от которого он хотел избавиться, и доказательством того, что однообразный ежедневный труд, многочасовое сидение в согнутой позе над роялем сделали его пришибленным. Он выпрямится и отбросит страхи. Угрозы тут не было, а только безразличие стихий. То есть опасности, конечно, существовали, но только обычные и не смертельные: травма при падении, потеря ориентировки, резкая перемена погоды, ночь. Справиться с этим — значит восстановить ощущение контроля над собой. Скоро смысл,

навязанный скалам сознанием, испарится, ландшафт обретет красоту и захватит его; невообразимая древность гор и обтянувшая их плотная сетка живого напомнят ему, что он — часть этого порядка, причем незначительная, и он станет свободен.

Однако сегодня этот благотворный процесс затягивался. Он шел уже полтора часа, а все присматривался к некоторым глыбам впереди — не скрывается ли что за ними, — все разглядывал со смутным страхом хмурую наружность скал и трав, все перемалывал осколки давешнего разговора с Верноном. Открытые места, которым полагалось бы уменьшить его тревогу, уменьшали все остальное: все устремления казались бессмысленными. В особенности симфонии: хилый грохот, ходули, обреченные попытки соорудить гору из звуков. Страстные усилия. И ради чего? Деньги. Почет. Бессмертие. Попытки отрицать случайность, плодящую нас, и отогнать страх смерти. Он остановился, чтобы подтянуть шнурки ботинок. Чуть погодя снял свитер и жадно попил из бутылки, желая смыть вкус копченой рыбы, которую неосмотрительно съел за завтраком. Потом поймал себя на том, что зевает и думает о постели в своем маленьком номере. Но

не мог же он еще устать — и восвояси повернуть не мог, после всех усилий, предпринятых, чтобы выбраться сюда.

Он дошел до моста через речку и сел. Надо было принимать решение. Он мог переправиться здесь и быстро подняться по левому склону долины на Стейк-Пасс или же дойти до самого конца долины и по крутому стометровому склону взобраться на Тонг-Хэд. Карабкаться на четвереньках ему не хотелось, но и не хотелось признаться себе в том, что он поддался слабости — или возрасту. В итоге он решил идти вдоль речки — трудный подъем, может быть, встряхнет его, выведет из оцепенения.

Час спустя он был уже у конца долины и, глядя на кручу, жалел о своем решении. Дождь усиливался, и, как бы ни расписывали дорогой водонепроницаемый костюм, который он сейчас натягивал, ясно было, что при восхождении в нем станет жарко. Чтобы не идти по скользким мокрым камням, он сразу двинулся вверх по высокому травянистому берегу, и в самом деле, через каких-нибудь несколько минут пот вместе с дождем уже заливал ему глаза. Его беспокоило, что у него так рано участился пульс и что каждые три-четыре минуты он вынужден делать пере-

дышку. Вообще-то такой подъем должен быть вполне ему по силам. Он попил из бутылки и пошел дальше; пользуясь тем, что рядом никого нет, он громко кряхтел и стонал при каждом трудном шаге.

Если бы кто-то шел рядом, Клайв, наверно, пошутил бы насчет унижений, связанных с возрастом. Но нынче не было у него в Англии друзей, разделявших его увлечение. Все его знакомые чудесно обходились без природы: загородный ресторан, Гайд-парк весной — и большего простора им не требуется. Очевидно, что они не вправе считать себя вполне живыми. Разгоряченный, потный, запыхавшийся, он перевалил свое тело на травянистую площадку и лег лицом в холодный дерн, под стучавшим по спине дождем, проклиная друзей за тупую вялость, отсутствие вкуса к жизни. Они бросили его. Никто не знает, где он, и никому до этого нет дела.

Послушав пять минут, как стучит дождь по его непромокаемому костюму, он поднялся и стал карабкаться дальше. И вообще, такое ли уж дикое место — Озерный край? Весь истоптан туристами, каждая незначительная подробность ландшафта снабжена ярлыком и самодовольно воспета. На самом деле — всего-навсего гигантский бурый

физкультурный зал, а эта круча — просто шведская стенка с травой. А у него — физкультура под дождем. Обессиливающие мысли продолжали преследовать его, пока он взбирался к седловине; но выше склон стал менее крут, дождь прекратился, длинная щель между тучами принесла маленькое утешение в виде жидкого солнечного света, и наконец это произошло — у него улучшилось настроение. Возможно, всего-навсего начали действовать эндорфины,[18] выделившиеся благодаря мышечной работе, а может быть, он просто поймал ритм. Или же сейчас наступил долгожданный момент любого восхождения, когда поднимаешься на седловину, идешь по водоразделу и в поле зрения медленно появляются новые вершины и долины — Грейт-Энд, Эск-Пайк, Боу-Фелл. Теперь горы были красивые.

Здесь место было почти ровное; он шел по кустистой траве к тропинке, по которой сюда приходили туристы из Лангдейла. Летом этот маршрут был до противности оживленным, а сейчас лишь одинокий ходок в синем целеустремленно пересекал широкое плато, спеша к Эск-Хаусу, словно на свидание. Когда ходок

[18] Примечания: 18

Эндорфины — вещества, сходные с опиатами; действуя на рецепторы мозга, они повышают болевой порог.

приблизился, Клайв увидел, что это женщина, и тут же вообразил себя в роли ее кавалера на том месте, куда она, видимо, так спешила: он ждал ее у пустынного озерка, окликал ее по имени, вынимал из рюкзака шампанское и две серебряные рюмки, подходил к ней… У Клайва никогда не было ни подруг, ни даже жен, любивших пешие походы. Сюзи Марселлан, большая охотница до всего новенького, отправилась с ним однажды в горы Катскилл и показала себя беспомощной манхэттенской беженкой: весь день комически жаловалась на мошек, мозоли и отсутствие такси.

К тому времени, когда он вышел на тропу, женщина была метрах в восьмистах впереди и уходила вправо, к скалам Аллен-Крагс. Он остановился, чтобы дать ей уйти и одному остаться на широком поле. Разрыв в тучах расширялся, и позади, на плато Ростуэйт-Фелл, сноп света, упавший на папоротники, исправил репутацию коричневой краски, опалив ее желтым и красным. Клайв убрал непромокаемый костюм, съел яблоко и обдумал маршрут. Ему уже хотелось взойти на Скафелл-Пайк, и он даже испытывал нетерпение. Кратчайшая дорога была через Эск-Хаус, но теперь, когда его отпустило, он решил

пройти дальше на северо-запад, спуститься к озеру Спринклинг-Тарн и низом, мимо Стай-Хед, выйти к длинному подъему по Коридорному маршруту. Если спуститься к Грейт-Энду и возвращаться тем же путем, каким шел сюда, по долине Лангстрат, то он успеет в гостиницу к сумеркам.

Он зашагал к широкому заманчивому гребню Эск-Хаус, чувствуя, что физически он не так уж уступает себе тридцатилетнему, что не мускулы, а дух тормозили его до сих пор. Какую силу он ощутил в ногах, когда у него исправилось настроение!

Огибая широкие потертости, причиненные ландшафту пешеходами, он по дуге направился к гребню и, как это часто бывало, стал рассматривать свою жизнь в новом свете, теша себя воспоминаниями о последних маленьких успехах: недавно выпущенный диск с его ранним оркестровым опусом, почти почтительный отзыв о его творчестве в воскресной газете, глубокая и остроумная речь, которую он произнес, вручая приз за сочинение ошеломленному школьнику. Клайв думал о своем творчестве в целом, о том, каким разнообразным и мощным выглядит оно, если поднять голову и обозреть его в перспективе, как представляет вкратце всю историю его

жизни. А сколько еще надо сделать! С теплым чувством он думал о людях, с которыми его свела жизнь. Наверное, он был не в меру суров с Верноном — ведь Вернон всего лишь пытается спасти газету и уберечь страну от грубой политики Гармони. Сегодня же вечером он Вернону позвонит. Их дружба слишком важна, нельзя ее рвать из-за одного частного спора. Они могут сойтись на том, что расходятся во мнениях, и остаться друзьями.

С этими благостными мыслями он дошел наконец до гребня, откуда открывался вид на длинный спуск к Стай-Хеду, но то, что он увидел, вызвало у него раздраженный вскрик. Растянувшись на полтора километра светящейся цепочкой оранжевых, зеленых и голубых пятен, двигался отряд туристов. Это были школьники, наверно, сотня их спускалась к озеру. Чтобы обогнать всех, понадобится не меньше часа. Не дав себе времени подумать о вечных своих раздражителях — оптическом загрязнении среды идиотскими флюоресцентными анораками и страстью этой публики к передвижению стадами, — он отвернул вправо, к Аллен-Крагс, и, едва туристы пропали из виду, хорошее настроение вернулось. Он воздержится от энергичного восхождения на Скафелл-Пайк, не спеша пойдет назад по гребню

и через Торнитуэйт-Фелл спустится в долину.

Не прошло, казалось, и нескольких минут, как он уже стоял на вершине утеса, переводя дух и поздравляя себя с переменой плана. Его ожидала прогулка, «полная интереса», как охарактеризовал ее Уэйнрайт[19] в «Южных нагорьях». Тропа то поднималась, то спускалась к озерцам, пересекала болота и скальные обнажения и выводила к вершинам Гларамары. Предвкушением этой прогулки он успокаивал себя неделю назад, засыпая.

Через четверть часа на склоне, заканчивавшемся наклонной рябой плитой, совершилось наконец то, на что он так надеялся: он был счастлив своим одиночеством, тело радовалось, спокойные мысли были далеко — и он услышал музыку, которую искал, по крайней мере услышал ключ к ее форме.

Явилось это как дар: большая серая птица взлетела с тревожным криком при его приближении. Набрав высоту и заложив вираж над долиной, она издала тонкий крик, три ноты, в которых он сразу узнал обращение мотива, уже записанного им для пикколо. Как изящно, как просто. Обращение линии было зародышем бесхитростной и

---

[19] Примечания: 19

Альфред Уэйнрайт — автор серии книг об Озерном крае, предназначенных для любителей пеших экскурсий.

прекрасной песни в простом размере — и он почти уже слышал ее. Но не совсем. В голове у него возник образ ступенек, плавно идущих вниз — от люка в мансарде или от двери легкого самолета. Одна нота наслаивалась на другую и звала следующую. Он слышал это, держал в руках — и исчезло. Еще тлел дразнящий остаточный образ и затихал отзвук печальной короткой мелодии. Эта синестезия была мучением. Ноты были накрепко связаны между собой — маленькие полированные шарниры, на которых распахнется совершенная мелодия. Он снова почти услышал ее, когда взобрался на верх наклонной каменной плиты и, остановившись, полез в карман за карандашом и блокнотом. Не совсем печальная. В ней было и веселье, бодрая решимость перед лицом невзгод. Мужество.

Он стал записывать обрывки услышавшегося в надежде вызвать к жизни остальное усилием воли, но в это время донесся другой звук — не воображаемый, не птичий крик, а невнятный голос. Клайв настолько сосредоточился, что почти одолел искушение поднять голову; но все же не совладал с собой. Заглянув за край плиты, нависшей над десятиметровым обрывом, он увидел озерцо размером с большую лужу. На дальнем

берегу его, окаймленном травой, стояла женщина, которая недавно прошла мимо, — женщина в синем. Перед ней, что-то тихо бубня, стоял мужчина, одетый совсем не по-туристски. Лицо его, длинное и худое, напоминало рыльце животного. На нем был старый твидовый пиджак, серые брюки из фланели и приплюснутая кепка, шея обмотана белой тряпкой. Возможно, фермер с холмов — или вышел ее встретить презирающий пешие походы друг. То самое свидание, которое нафантазировал Клайв.

Это неожиданное зрелище, эти отчетливые фигуры среди скал как будто кто-то приготовил специально для него. Казалось, они были актерами, разыгрывавшими сцену, смысл которой ему полагалось разгадать, что-то изображали, притворяясь, будто не знают о присутствии зрителя. Что бы ни происходило между ними, первой мыслью Клайва, вспыхнувшей, как неоновая вывеска, было: *Меня тут нет.*

Он нырнул за камень и продолжал писать. Если сейчас зафиксировать на бумаге то, что он уже поймал, тогда можно будет тихонько отойти дальше по гребню и там заняться остальным. Донесся голос женщины, но он не слушал. И так уже трудно было восстановить то, что минуту назад

казалось ясным. Поблуждав среди звуков, Клайв все-таки нашел его снова, этот наслаивающийся образ, такой очевидный, когда он вернулся, и немедленно ускользавший, стоило только немного ослабить внимание. Он зачеркивал ноты с такой же быстротой, с какой вписывал, но, когда голос женщины сорвался на крик, рука его замерла.

Сознавая, что это ошибка, что надо было продолжать запись, он тем не менее выглянул из-за плиты. Сейчас женщина стояла лицом к Клайву. Он решил, что ей немного меньше сорока. У нее было маленькое смуглое мальчишеское лицо и кудрявые черные волосы. Значит, они с мужчиной знают друг друга, потому что спорят — похоже, семейная ссора. Она положила рюкзак на землю и стояла в вызывающей позе: подбоченясь, расставив ноги, выставив подбородок. Мужчина шагнул к ней и схватил ее за локоть. Она резким движением стряхнула его руку. Затем, что-то выкрикнув, подняла рюкзак и попыталась вскинуть его на плечо. Но мужчина тоже держался за него и тянул к себе. Несколько секунд они боролись, рюкзак перемещался туда и сюда. В конце концов им завладел мужчина и одним презрительным движением, взмахом

кисти, швырнул в озеро; рюкзак нырнул, всплыл наполовину и стал медленно тонуть.

Женщина сделала два быстрых шага к воде, но передумала. Когда она повернула обратно, мужчина снова попытался взять ее за руку. Все это время они разговаривали, спорили, но их голоса долетали до Клайва лишь обрывками. Он лежал на наклонной плите с карандашом в одной руке и блокнотом в другой и вздыхал. Неужели он все-таки вмешается? Он представил себе, как сбегает вниз. Когда он окажется возле них, события могут развиваться по-всякому: мужчина может удрать; женщина будет благодарна, и вдвоем они спустятся на главную дорогу у Ситоллера. Даже при этом, наименее вероятном исходе нестойкое его вдохновение улетучится. Скорее, мужчина обратит свою агрессию на него, а женщина будет наблюдать беспомощно. Или наоборот — с удовольствием, и такое возможно; если они близки, могут оба напасть на незваного защитника.

Женщина снова закричала, и Клайв, прижавшись к плите, закрыл глаза. Нечто драгоценное, жемчужина, укатывалось от него. А ведь были другие возможности; вместо того чтобы взбираться сюда, он решил бы спуститься к Стай-Хеду, обогнать флюоресцентную сотню и по Коридор-

ному маршруту взойти на Скафелл-Пайк. Тогда то, что происходит сейчас здесь, шло бы своим чередом. Их судьба, его судьба. Жемчужина, мелодия. Важность ее он ощущал как тяжелый груз. От нее зависело так много: симфония, празднование, его репутация, оплакиваемого века ода к радости. Сомнений не было: то, что он наполовину услышал, способно вынести этот груз. В простоте мелодии — все, достигнутое за целую жизнь. Не было сомнений и в том, что отрывок музыки не просто ждет открытия; Клайв *творил* его, пока ему не помешали, выковывал из птичьего крика, обратив на пользу чуткую пассивность творчески заряженного сознания. Сейчас он стоял перед ясным выбором: либо спуститься и защитить женщину, либо улизнуть и за подножием Гларамары найти укромное место для продолжения работы — если она еще не загублена. Оставаться здесь, ничего не предпринимая, он не мог.

При звуках сердитого голоса он открыл глаза и подтянулся наверх, чтобы выглянуть. Мужчина держал ее за руку и тащил вокруг озера под скалу, на которой лежал Клайв. Свободной рукой она скребла по земле, может быть, искала камень, чтобы использовать как оружие, но этим только облегчала ему работу. Рюкзак ее скрылся под

водой. А мужчина все время разговаривал с ней, понизив голос до ровного, невнятного бормотанья. Вдруг она жалобно заскулила, и Клайв отчетливо понял, что надо делать. Съезжая вниз по камню, он уже сознавал, что нерешительность его была притворной. Решение он принял в ту самую минуту, когда ему помешали.

Очутившись на ровном месте, он поспешил назад, той же дорогой, которой шел сюда, а потом стал постепенно спускаться по западному склону гребня, в обход, описывая широкую дугу. Через двадцать минут он нашел себе стол — плоский камень — и снова склонился над рукописью. Теперь в ней почти ничего не было. Он пытался вызвать музыку, но ему мешал сосредоточиться другой голос, настойчивый внутренний голос самооправдания: чем бы это ни разрешилось — дракой, угрозой драки, его смущенными извинениями или, в итоге, его заявлением в полицию, — если бы он подошел к ним, решающий момент его жизни был бы упущен. Мелодия не пережила бы психической суматохи. При том, как широк был гребень и сколько тропинок пересекало его, он мог сто раз с ними разминуться. Его как бы не было там. Его там не было. Он был в своей музыке. Его судьба, их судьба, разные

дороги. Вот — его дело, и оно нелегкое, и *он* ни у кого не просит помощи.

Наконец он заставил себя успокоиться и начал сначала. Вот три ноты, птичий крик, вот его обращение для пикколо, а вот наслаиваются одна на другую ступени…

Час простоял он, нагнувшись над рукописью. Наконец спрятал блокнот в карман, быстрым шагом, держась западной стороны гребня, пошел назад и вскоре спустился на плато. До гостиницы он добрался за три часа, и тут как раз снова полил дождь. Тем больше причин отказаться от дальнейшего пребывания здесь, собрать сумку и попросить официантку, чтобы вызвала такси. Все, что нужно, он получил от Озерного края. Работу можно продолжить в поезде, а когда вернется домой, он отнесет свою величественную мелодию, так чудесно гармонизированную, к роялю, чтобы выпустить на простор ее красоту и печаль. И конечно, творческое волнение заставляло его расхаживать взад-вперед по тесному бару гостиницы в ожидании такси, останавливаясь время от времени, чтобы взглянуть на стеклянный ящик с чучелом лисы, притаившимся в вечнозеленой листве. Волнение выгоняло его раза два на улицу посмотреть, не едет ли машина. Ему не

терпелось покинуть долину. Когда сообщили, что такси пришло, он выскочил наружу, кинул сумку на заднее сиденье и велел шоферу ехать быстрее. Он хотел быть подальше отсюда, он мечтал очутиться в поезде и мчаться на юг, прочь от озер. Снова затеряться в большом городе, укрыться в стенах своей студии и… — он всматривался в себя пристально — конечно, волнение побуждало его к этому, а не стыд.

IV

1

Роз Гармони проснулась в половине седьмого и, еще не открыв глаза, вспомнила и произнесла про себя имена трех детей: Леонора, Джон, Кенди. Стараясь не разбудить мужа, она тихо слезла с кровати и подобрала свой халат. Перед сном она прочитала записи, а еще днем встретилась с родителями Кенди. Остальные два пациента были из рядовых: диагностическая бронхоскопия по случаю попавшей в дыхательное горло горошины и дренаж грудной полости в связи с абсцессом легкого. Кенди была тихая вест-индская девочка, и на протяжении всей долгой мрачной болезни мать зачесывала ей волосы назад и перевязывала лентой. Операция на открытом сердце продлится самое малое три часа, а возможно, и пять. Ее отец держал продовольственный магазин и на встречу с врачом привез корзину ананасов, манго и винограда — жертвоприношение свирепому богу ножа.

Миссис Гармони босиком пришла на кухню ставить чайник, и ее встретило благоухание фрук-

тов. Пока чайник грелся, она прошла через узкую переднюю в свой кабинет и стала складывать портфель, попутно проглядывая еще раз записи. Она отзвонила председателю партии, оставила записку своему взрослому сыну, спавшему в комнате для гостей, после чего вернулась на кухню и заварила чай. С чашкой в руке она подошла к окну и, не отодвинув кружевных занавесок, посмотрела на улицу. Она насчитала их восемь на тротуаре Лорд-Норт-стрит, на три больше, чем вчера в этот же час. Ни телекамер, ни полицейских, обещанных лично министром внутренних дел, не было видно. Надо было оставить Джулиана на Карлтон-Гарденс, в ее старой квартире, а не здесь. Эти люди считались конкурентами, а между тем они стояли кучкой и болтали, словно у пивной летним вечером. Один опустился на колени и прилаживал что-то к алюминиевому шесту. Потом он встал, обвел взглядом окна и как будто увидел ее. Она наблюдала без всякого выражения за тем, как приближалась к ней, ныряя и выдвигая объектив, камера. Когда камера оказалась почти вровень с ее лицом, она отступила от окна и пошла наверх одеваться.

Через четверть часа она опять выглянула — на этот раз из окна гостиной на втором этаже.

Самочувствие у нее было как раз такое, какое требовалось перед трудным днем: спокойна, собранна, не терпится приступить к работе. Вчера обошлось без гостей, без вина за ужином; час с записями, семь часов сна. Она не позволит выбить себя из колеи. Она смотрела на группу — теперь их было девять — со сдержанным интересом. Тот, что с шестом, сложил свое приспособление и прислонил к ограде. Другой нес поднос с кофе из кондитерской на Хорс-Ферри-роуд. Что они надеются раздобыть такого, чего еще не раздобыли? И в такую рань. И что за удовольствие им от подобной работы? И почему они так похожи, эти топтуны, словно выведенные из одной крохотной генной лужицы человечества? Щекастые, бесцеремонные мужчины в кожаных куртках, с одинаковой речью — странной смесью фальшивой простонародности и фальшивого шика, подаваемой с воинственно-просительным подвывом. «Эй, сюда, пожалуйста, миссис Гармони! Роз!»

Одетая и уже готовая к выходу, она отнесла его чай и утренние газеты в затемненную спальню. Последние дни у него были так гнусны, что ей не хотелось будить его для очередного. Вчера вечером он приехал на машине из Уилтшира, а потом

сидел допоздна с бутылкой виски и смотрел на видео «Волшебную флейту» в постановке Бергмана. Потом вытащил все письма Молли Лейн — те, где глупо поощрялась его нелепая страсть. Слава богу, этот эпизод закончен, слава богу, эта женщина умерла. Письма все еще валялись на ковре, ему надо будет их спрятать до прихода уборщицы. Из-под одеяла высовывалась только его макушка — пятьдесят два года, а волосы до сих пор черные. Она легонько взъерошила их. Иногда во время обхода сестра так будила для нее детей, и Роз бывала растрогана растерянностью в глазах какого-нибудь малыша, не сразу понимавшего, что он не дома и что это — не материнское прикосновение.

— Дорогой, — шепнула она.

Его голос зазвучал глухо из-под зимнего пухового одеяла:

— Они там?

— Девять человек.

— Блядство.

— Я побежала. Позвоню. Вот, возьми. Он откинул одеяло и сел.

— Ну да. Девочка. Кенди. Ни пуха ни пера.

Она легонько поцеловала его в губы и отдала ему чашку. Потом приложила ладонь к его щеке

и напомнила о разбросанных письмах. Отошла неслышно, спустилась и позвонила своей секретарше в больницу. В передней надела толстое шерстяное пальто, оглядела себя в зеркало, хотела уже взять портфель, ключи и шарф, но передумала и вернулась наверх. Как и следовало ожидать, он дремал, лежа навзничь, раскинув руки, и чай его стыл рядом с кипой министерских бумаг. За всю неделю просто не было времени — из-за скандала, из-за снимков, которые будут напечатаны завтра, в пятницу, — минуты такой не было, да и желания рассказать о своих пациентах, и, хотя она знала, что это всего лишь навык опытного политика — запоминать имена, ее растрогало внимание мужа. Она потрепала его по руке и шепнула:

— Джулиан.

— О боже, — сказал он, не открывая глаз. — Первая встреча в восемь тридцать. Идти мимо змей.

Она ответила ему так, как отвечала обеспокоенным родителям: медленно, тоном не серьезным, а бодрым и беспечным:

— Все будет хорошо. Все будет прекрасно.

Он улыбнулся, но его это нисколько не убедило. Она наклонилась и сказала ему на ухо:

— Верь мне.

Внизу она еще раз оглядела себя в зеркало, застегнула доверху пальто и выпустила шарф так, что он скрыл половину лица. Потом взяла портфель и вышла из квартиры. В холле, перед тем как открыть дверь и броситься к машине, она задержала руку на замке, собираясь с духом.

— Эй! Рози! Сюда! Сделайте грустное лицо, миссис Гармони.

2

В это же время в пяти километрах к западу Вернон Холлидей пробуждался и снова проваливался в сон о том, как он бежит, или в воспоминания об этом, оживленные сном, — сон-воспоминание о том, как бежит по коридору, по пыльному красному ковру к комнате совета, *опаздывает,* опять опаздывает, опаздывает до такой степени, что будет встречен нескрываемым презрением, бежит с предыдущего совещания на это, а впереди до обеда еще семь, внешне — идет, а внутри — рысью, всю неделю напролет, излагает доводы перед разъяренными грамматиками, потом перед скептическим советом директоров газеты, перед его служащими, его юристами, потом перед своими, потом перед людьми Джорджа Лейна и Советом по печати, перед телезрителями и ра-

диослушателями в бесчисленных, неотличимых, душных радиостудиях. Вернон обосновывал публикацию фото интересами общества — примерно так же, как в разговоре с Клайвом, но тоньше, подробнее, стремительнее, с большим напором и четкостью, со множеством примеров, с таблицами, блок-схемами, круговыми диаграммами и утешительными прецедентами. Но по большей части он бежал, опасно выскакивал в гущу транспорта, подзывая такси, выскакивал из такси, бежал по мраморным вестибюлям к лифтам, выбегал из лифтов в коридоры, как назло идущие с подъемом, замедляющие бег, заставляющие опаздывать. Он просыпался на мгновение, видел, что его жены Манди уже нет в постели, глаза его закрывались, и он снова был там — поднимая повыше портфель, брел по воде, или крови, или слезам, заливавшим красный ковер, который приводил его в амфитеатр, где он поднимался на подиум, чтобы изложить свое дело, и молчание вздымалось вокруг него, как кедровый лес, и в сумраке десятки глаз отворачивали взгляд, и кто-то уходил от него по цирковым опилкам, кто-то, похожий на Молли, но не отвечавший на его оклики.

Наконец он совсем проснулся среди покойных

утренних звуков — щебетала птица, вдалеке на кухне играло радио, мягко закрылась дверца буфета. Он столкнул одеяло и лежал на спине голый, ощущая, как нагретый батареями воздух осушает испарину на груди. Сны его были просто калейдоскопом осколков прошлой недели, верным отзывом на ее темп и эмоциональные нагрузки, однако упускавшим — из-за инстинктивной, корыстной пристрастности подсознательного — саму стратегию, исходный план, чья развертывающаяся логика только и сохраняла ему рассудок. Уже который день, с тех пор как был отменен судебный запрет, «Джадж» анонсировала разоблачение Гармони, разжигая и фокусируя любопытство публики, так что фотографии, которых никто еще не видел, стали знамением политической жизни от парламента до пивной, всеобщей темой разговоров, предметом, не иметь мнения о котором не мог себе позволить ни один важный игрок. Газета освещала судебные баталии, ледяную поддержку собратьев по правительству, нервозность премьер-министра, «серьезную озабоченность» лидеров оппозиции, размышления великих и праведных. Газета предоставила свои страницы решительным противникам публикации и организовала те-

левизионные дебаты о необходимости закона, охраняющего частную жизнь от огласки.

Несмотря на голоса противников, общее мнение склонялось к тому, что «Джадж» — честная, боевая газета, что правительство пребывало у власти слишком долго и стало финансово, морально и сексуально нечистоплотным, что Джулиан Гармони — типичный этого пример, презренная личность, и голова его срочно требуется на блюде. За неделю тираж вырос на сотню тысяч, и главный редактор стал замечать, что старшие сотрудники встречают его аргументы молчанием, а не возражениями; втайне все они желали, чтобы он продолжал вести свою линию, лишь бы их принципиальное несогласие было внесено в протокол. Вернон брал верх в споре, поскольку все, включая рядовых репортеров, поняли, что могут усидеть на двух стульях: и газета спасена, и совесть не запятнана.

Он потянулся, поежился и зевнул. До первого совещания семьдесят пять минут, скоро надо будет встать, побриться, принять душ — но не сейчас, пусть еще продлятся последние спокойные мгновения дня. Его нагое тело на простыне, скомканное одеяло у щиколоток и вид собственных гениталий, несмотря на возраст, еще

не совсем заслоненных выступом и развалом живота, родили смутные сексуальные мысли, поплывшие в мозгу, как высокие летние облака. Но Манди, наверно, сейчас уходит на работу, а его последняя подруга Дейна, сотрудница палаты общин, до вторника за границей. Он перевернулся на бок и подумал, не заняться ли мастурбацией, может быть, это очистит голову для предстоящих дел. Он рассеянно сделал несколько движений и сдался. В последние дни он как будто бы утратил концентрацию и ясность ума или же способность отодвинуть мысли, и само занятие представлялось до странности устарелым и невероятным, как добывание огня трением.

Кроме того, в последнее время о стольком надо было подумать, столько выдалось треволнений в реальном мире — куда там до них фантазиям. Что он сказал, что скажет, как это воспримется, его следующий шаг, развертывающиеся последствия успеха… Неделя все набирала живую силу, и каждый ее час открывал Вернону новые стороны его власти и возможностей; его дар убеждения и планирования приносил плоды, и он ощущал себя великодушным и милостивым, может быть, немного безжалостным, но в целом праведником: он был один в поле воин, он шел против течения,

видел поверх голов современников, сознавая, что решает судьбу своей страны, — и готов был нести эту ответственность. Больше, чем нести, — он *нуждался* в этой ноше, его дарования требовали задачи, которая остальным не по плечу. Кто еще повел бы себя так решительно, когда Джордж, действуя инкогнито, через посредника, выбросил фотографии на рынок? Восемь других газет предлагали свою цену, и Вернону, чтобы купить права, пришлось учетверить начальную сумму. Теперь ему казалось странным, что еще недавно его мучило онемение в черепе и чувство, что он не существует, и из-за этого он боялся обезуметь и умереть. Панику вселили похороны Молли. Теперь его переполняла жизнь и ощущение цели. Жива его кампания, и потому жив он.

Одна только мелочь мешала полному счастью: Клайв. Столько раз он мысленно обращался к Клайву, так оттачивал доводы, добавлял аргументы, не подвернувшиеся в тот вечер, что готов уже сам был поверить, будто привлек старого друга на свою сторону, так же как одолел динозавров из совета директоров. Но после той ссоры они не разговаривали, и чем ближе был день публикации, тем больше Вернон беспокоился. В мрачных размышлениях Клайв, или в ярости, или же за-

перся в студии, весь ушел в работу, забыв о делах страны? Несколько раз за эту неделю Вернон думал о том, чтобы выкроить свободную минуту и позвонить ему. Но опасался, что новая атака Клайва может выбить его из равновесия перед очередной встречей. Он посмотрел на телефон за горкой смятых подушек — и вдруг схватил его. Нельзя, чтобы предусмотрительность снова превратила его в труса. Он должен спасти их дружбу. И лучше сделать это, пока он спокоен. В трубке уже раздались гудки, когда он заметил, что сейчас только четверть девятого. Слишком рано. И в самом деле, возня и стуки на том конце провода свидетельствовали о полупараличе грубо прерванного сна.

— Клайв? Это Вернон.

— Что?

— Вернон. Я тебя разбудил. Извини…

— Нет, нет. Вовсе нет. Я тут стоял, думал…

В трубке послышался шелест простынь — Клайв перемещался в постели. Почему мы так часто *лжем* по телефону о своем сне? Скрываем свою уязвимость? Когда Клайв снова заговорил, хрипотцы в его голосе было уже меньше.

— Я собирался тебе позвонить, но на той неделе у меня репетиции в Амстердаме. Работаю без

продыху.

— Я тоже, — сказал Вернон. — Минуты не было свободной за всю неделю. Слушай, я хотел еще раз поговорить о фотографиях.

Пауза.

— А, да. О тех. Ты, наверно, дал им ход.

— Я собирал мнения, и все сходятся на том, что надо публиковать. Завтра.

Клайв тихо откашлялся. Ответ его прозвучал очень спокойно.

— Мое мнение ты знаешь. Сойдемся на том, что мы несогласны.

— Не хочу, чтобы это встало между нами, — сказал Вернон.

— Ну конечно.

Разговор перешел на другие темы. Вернон, в общих чертах конечно, описал свою неделю. Клайв рассказал ему, что работал ночами напролет, что симфония очень продвинулась и что он правильно придумал пройтись по Озерному краю.

— Ах да, — сказал Вернон. — Ну и как?

— Я дошел до одного места, называется Аллен-Крагс, и там меня осенило… чистое вдохновение… понимаешь, мелодия…

Тут Вернон услышал писк, означавший, что ему звонят. Два раза, три, и смолк. Кто-то из газе-

ты. Возможно, Фрэнк Диббен. День, последний и самый важный день, набирал обороты. Вернон, голый, сидя на краю кровати, схватил свои часы, чтобы сравнить с будильником. Клайв на него не сердится, все в порядке, теперь пора за дело.

— …они меня оттуда не видели, выглядело это гнусно, но я должен был решать…

— Ммм, — произносил Вернон примерно каждые полминуты. До отказа натянув телефонный провод, он стоял на одной ноге, а другой пытался вытащить чистое белье из кипы. Душ исключен. Бритье с мылом — тоже.

— …не знаю, он мог живого места на ней не оставить. И тем не менее…

Зажав трубку между щекой и плечом, он вытаскивал рубашку из целлофанового пакета, стараясь, чтобы он не гремел. От скуки или из садизма застегивают в прачечной рубашку на все пуговицы?

— …примерно за километр присмотрел себе камень, вместо стола…

Вернон наполовину влез в брюки, и тут снова раздался писк.

— Безусловно, — подхватил он. — Каменный стол. Любой человек в здравом уме воспользуется камнем. Опаздываю на работу, Клайв. Надо бе-

жать. Выпьем завтра?

— А. Да. Хорошо. Заезжай завтра.

3

Вернон выкарабкался с заднего сиденья утлой машины, которой его наделили хозяева газеты, и остановился на тротуаре перед зданием редакции, чтобы одернуть замявшийся костюм. Торопливо пересекая мраморный черно-рыжий вестибюль, он увидел перед лифтом Фрэнка Диббена. В день своего двадцативосьмилетия Фрэнк стал заместителем заведующего международным отделом. Четырьмя годами и тремя редакторами позже он был все там же и, по слухам, выказывал нетерпение. За худобу и голодный вид его прозвали Кассием, впрочем, несправедливо: глаза у него были темные, лицо длинное и бледное, густая щетина придавала ему сходство с полицейским следователем, ведущим допрос; однако манеры у него были вежливые, хотя и суховатые, и привлекательный ироничный ум. Вернон всегда относился к Фрэнку с рассеянной неприязнью, но в первые дни споров из-за Гармони сблизился с ним. На другой день после того, как Клир вынес вотум недоверия своему главному редактору, и после того, как был заключен договор с Клайвом,

молодой человек в сумерках подстерег понурого начальника на улице, подошел, тронул его за плечо и предложил выпить. В тоне Диббена было нечто убедительное.

Зашли в переулок, в незнакомый Вернону паб — рваный красный плюш, прокуренный воздух — и сели позади громадного музыкального автомата. За джином и тоником Фрэнк высказал главному редактору свое возмущение нынешним оборотом событий. Вчерашним голосованием манипулировали всегдашние неблагонадежные из Клира, чьи жалобы и склоки не прекращаются годами, и он, Фрэнк, отказался присутствовать на собрании, сославшись на занятость. Есть и другие, сказал он, которые думают так же, хотят, чтобы «Джадж» расширила свою аудиторию, взбодрилась, совершила смелый поступок, например, припечатала Гармони, но мертвая рука грамматиков держит все рычаги должностного продвижения. Старая гвардия скорее загонит газету в гроб, чем позволит ей повернуться лицом к тем, кому меньше тридцати. Они отвергли крупный шрифт, раздел «Образ жизни», гороскопы, вкладку «Здоровье», светскую хронику, виртуальное лото, советы несчастным, а также зубастый репортаж о королевской семье и поп-музыку. А

теперь набросились на единственного человека, который мог бы спасти газету. Среди молодых сотрудников у Вернона есть поддержка, но у них нет голоса. Никто не хочет высунуться первым, чтобы его подстрелили.

Вдруг почувствовав легкость в ногах, Вернон подошел к стойке за новой порцией. Да, пора прислушаться к младшим сотрудникам, пора их выдвигать.

Фрэнк закурил за столом и вежливо повернулся вместе со стулом, чтобы выпускать дым в сторону. Он принял от Вернона стакан и продолжал речь. Фотографий он, конечно, не видел, но уверен, что печатать их надо. Он на стороне Вернона, и больше того. Он хочет быть полезным, и именно поэтому будет неправильно, если он открыто выступит союзником главного редактора. Он извинился и пошел к стойке, чтобы заказать сосиски с пюре, а Вернон вообразил однокомнатную квартиру, спальню-гостиную и там — никого, не ждет там девушка заместителя заведующего международным отделом. Вернувшись на место, Фрэнк торопливо продолжил:

— Я мог бы держать вас в курсе. Сообщать, о чем говорят. Выяснять, кто вас действительно поддерживает. Но я должен выглядеть как лицо

нейтральное, незаинтересованное. Вы не против?

Вернон не хотел связывать себя. Он был слишком опытен, чтобы нанять шпиона, не вполне представляя себе его позицию. Он перевел разговор на политику Гармони, и полчаса прошли в приятной детализации разделяемого собеседниками презрения. Но через три дня, когда Вернон начал бегать по коридорам и, ошеломленный неистовством оппозиции, даже чуть-чуть заколебался, он снова встретился с Диббеном — в той же пивной, за тем же столом — и показал ему фотографии. Реакция Фрэнка была ободряющей. Фрэнк подолгу разглядывал каждую, молчал и только качал головой. Потом сложил снимки в конверт и тихо произнес:

— Невероятно. Какое лицемерие. — Оба на минуту задумались, потом Фрэнк добавил: — Вы должны это сделать. Не дайте им остановить вас. Это закроет ему путь к премьерству. Это будет его концом. Вернон, я действительно хочу помочь.

Поддержка со стороны молодых оказалась не столь явственной, как утверждал Фрэнк, но в те дни, пока Вернон умиротворял редакцию, ему крайне важно было знать, какие его аргументы доходят до цели. На этих свиданиях за музы-

кальным автоматом он узнавал, когда и почему происходит раскол среди противников и в какой момент надо дожать их своими доводами. Пока планировалась и осуществлялась реклама предстоящей сенсации, Вернон точно знал, кого из грамматиков изолировать и подвергнуть обработке. Он проверял рекламные ходы на Фрэнке, и кое-что толковое тот предлагал сам. Но главное, Вернону необходимо было с кем-то говорить — с человеком, который разделял его чувство исторической миссии, его волнения, который инстинктивно понимал судьбоносный характер кампании и оказывал моральную поддержку, когда все остальные занимались критиканством.

Директор-распорядитель стал союзником, анонсы и рекламные тексты были написаны, тираж увеличивался, немое, хотя и недоброжелательное возбуждение расползалось по редакции, и нужда во встречах с Фрэнком отпала. Однако Вернон желал отблагодарить его за преданность и подумывал о том, чтобы посадить его на место Леттис — заведующим отделом очерков. Нерасторопность в истории с сиамскими близнецами поставила ее пребывание в должности под вопрос. Шахматным приложением она подписала себе смертный приговор.

И вот сегодня, утром четверга, за день до публикации, Вернон и его помощник поднимались на четвертый этаж в древнем лифте, судя по всему страдавшем падучей. Вернон чувствовал себя как в старые дни перед генеральной репетицией студенческого спектакля: потные ладони, замирание в брюхе, учащенный стул. Прежде чем закончится утреннее совещание, все старшие сотрудники, ведущие журналисты и немало людей кроме них увидят фотографии. Первый выпуск отправлялся в печать в 5.15, но лишь в 9.30, к последнему выпуску, Гармони, его платье и томный взгляд яростно завертятся на стальных валах новой типографии в Кройдоне. Идея состояла в том, чтобы соперники не успели дать конкурирующий материал в своих поздних выпусках. Фургоны с тиражом выедут в 11.00. И тогда путь к отступлению будет отрезан.

— Вы видели прессу, — сказал Вернон.

— Полное блаженство.

Сегодня все газеты, и полноформатные, и прочие, вынуждены были дать родственные материалы. В каждом заголовке, в каждом суетливо расследованном аспекте истории читалась зависть и неохота. В «Телеграфе» психолог напыщенно теоретизировал о склонности наряжаться

в одежду противоположного пола, а «Гардиан» отдала целый разворот — с большой фотографией Эдгара Гувера[20] в коротком нарядном платье — глумливой статье о трансвеститах в общественной жизни. Ни одна из этих газет не нашла в себе сил упомянуть «Джадж». «Миррор» и «Сан» подстерегали Гармони на его ферме в Уилтшире. Обе газеты напечатали похожие зернистые фотографии, снятые телеобъективом: министр иностранных дел с сыном исчезают в темном проеме амбара. Огромные двери распахнуты, свет лежит на плечах Гармони, руки уже поглотила тьма — еще мгновение, и человек канет в безвестность.

Между вторым и третьим этажами Фрэнк нажал кнопку «стоп», и с жутким толчком, от которого у Вернона захолонуло сердце, лифт остановился. Вычурная, из красного дерева с медью, кабина, скрипя, колебалась над шахтой. Раза два они уже устраивали такие совещания на лету. Главный редактор счел необходимым скрыть свой ужас и сохранять невозмутимость.

— Коротко, — сказал Фрэнк. — На совещании Макдональд произнесет небольшую речь.

---

[20] Примечания: 20

Джон Эдгар Гувер (1895–1972) — директор Федерального бюро расследований, 1924–1972.

Невнятно — об их неправоте, но и невнятно — что вас прощает. Тем не менее горячо поздравляю, и, раз мы решили идти до конца, будем заодно.

— Прекрасно, — сказал Вернон. Изысканное наслаждение — послушать, как извиняется заместитель, делая вид, что не извиняется.

— Дело в том, что, возможно, ему будут подпевать, возможны даже аплодисменты, такого рода вещи. Если вы не против, я посижу в уголке, не буду раскрывать карты на этом этапе.

У Вернона что-то слабо, коротко шевельнулось внутри, будто дернулся рефлекторно какой-то спавший дотоле мускул. Любопытство пополам с недоверием; но предпринимать что-либо было поздно, и поэтому он сказал:

— Разумеется. Вы нужны мне на своем месте. Следующие несколько дней могут оказаться решающими.

Фрэнк нажал кнопку, никакого эффекта. Потом кабина провалилась на несколько сантиметров и рванула вверх. Джин, как всегда, сидела за раздвижной дверью с ворохом писем, факсов, распоряжений.

— Они ждут вас в шестой комнате.

Первая встреча была с менеджером по рекламе и его группой, считавшими, что настал момент

поднять расценки. Вернон был склонен воздержаться. Пока они мчались по коридору — с красным ковром, как в снах, — он заметил, что Фрэнк отвалил в сторону, зато тут же присоединились двое макетчиков. Просили обрезать фото на первой полосе, чтобы дать врез подлиннее, но Вернон уже решил, какой макет ему требуется. Из своей кельи размером с буфет выскочил редактор некрологов Манни Скелтон и сунул в руку проходящего Вернона несколько машинописных страниц. Этот материал заказали на случай, если Гармони наложит на себя руки. К группе присоединился редактор отдела писем — хотел переговорить до начала совещания. Он ожидал потока писем и пытался выбить себе полосу. Шагая к комнате шесть, Вернон снова был самим собой, великодушным, милостивым, безжалостным и праведным. Там, где другой ощущал бы бремя на своих плечах, он ощущал полномочную легкость, даже лучистость, он лучился компетентностью и благополучием, ибо его уверенные руки готовы были вырезать рак из государственного тела — этот образ он намеревался использовать в передовице сразу после отставки Гармони. Лицемерие будет разоблачено, страна не уйдет из Европы, смертная казнь

и воинская повинность так и останутся мечтой полоумных, социальное обеспечение в той или иной форме сохранится, у окружающей среды не отнимут будущее, и Вернону хотелось запеть.

Он не запел, но следующие два часа прошли с искрометностью оперетты, где все арии были его, а смешанный подвижный хор и восхвалял его, и гармонически следовал его мыслям. Потом пробило одиннадцать, и в кабинет Вернона на утреннее совещание набилось невиданное количество народу. Редакторы отделов со своими заместителями и помощниками, журналисты теснились на стульях, подпирали спинами каждый сантиметр стен, обсели все подоконники и радиаторы. Те, кто не смог втиснуться в комнату, сгрудились в открытых дверях. Когда главный редактор добрался до своего кресла, разговоры смолкли. Он начал, как всегда, театрально, без предисловий, по заведенному распорядку: обзор предыдущего номера, затем — по списку. Сегодня, конечно, посягательств на первую полосу не будет. Вернон сделал лишь одну уступку: сменил обычный порядок, так что внутренние новости и политика пойдут последними. Спортивный редактор давал статью об обстановке на Олимпийских играх в Атланте и элегию о состоянии

английских пар в настольном теннисе. Литературный редактор, прежде никогда не успевавший на утреннее совещание, сонно пересказал роман о еде, настолько претенциозный, что Вернон был вынужден оборвать его. По отделу искусств был кризис финансирования, а Леттис О'Хара наконец собралась дать очерк о медицинском скандале в Голландии и, в пандан к главной сенсации, очерк о том, как промышленное загрязнение среды превращает рыб-самцов в самок.

Когда заговорил редактор международного отдела, аудитория сосредоточилась. Предстоит встреча европейских министров иностранных дел, и Гармони в ней участвует, если не подает сейчас в отставку. Последнее допущение вызвало взволнованный шепоток. Вернон выпустил редактора отдела политики Харви Строу, который набросал историю политических отставок. В последнее время их было немного — это явно умирающее искусство. Премьер-министр, известный крепостью дружеских привязанностей и слабостью политического чутья, вероятно, будет отстаивать Гармони, пока его самого не выставят. Это продлит скандал, что «Джаджу» на руку.

По просьбе Вернона заведующий отделом распространения подтвердил последние цифры,

лучшие за семнадцать лет. Тут шепоток перерос в гвалт, а в дверях произошло колыхание и топтанье — это обездоленные журналисты в комнате Джин решили прорваться сквозь стену тел. Вернон хлопнул по столу, призывая к порядку. Оставалось выслушать Джереми Болла, редактора внутренних новостей; ему пришлось повысить голос: сегодня слушается дело десятилетнего мальчика, обвиняемого в убийстве; насильник Озерного края совершил второе нападение за неделю, и вчера ночью арестован некий мужчина; у побережья Корнуолла разлилась нефть. Но никому это было, в сущности, не интересно, лишь одна тема могла утихомирить собрание, и Болл наконец к ней перешел: на письмо епископа в «Черч таймс», осуждающее «Джадж» за историю с Гармони, должен быть дан ответ в сегодняшней передовице; надо осветить заседание комитета парламентариев от правящей партии; в окно избирательного штаба Гармони в Уилтшире бросили кирпич. Эти новости были встречены беспорядочными аплодисментами; затем в наступившей тишине с короткой речью выступил заместитель Вернона Грант Макдональд.

Он был ветераном редакции, крупный мужчина с нелепой рыжей бородой, никогда не

подстригавшейся и почти полностью скрывавшей лицо. Макдональд любил изобразить из себя истого шотландца — надевал килт в Бернсовский вечер, который сам и организовал для газеты, дудел на волынке на новогодних ужинах в редакции. Вернон подозревал, что Макдональд никогда не заезжал севернее Масвелл-Хилла.[21] На людях заместитель, как и полагается, поддерживал начальника, но наедине с Верноном высказывался о его затее скептически. Каким-то образом вся редакция знала о его скептицизме — поэтому его и слушали сейчас с особым вниманием. Он начал глухим рыком, отчего тишина вокруг еще больше уплотнилась.

— Теперь я могу сказать — и для всех это будет сюрпризом, — что у меня с самого начала были маленькие сомнения…

Этот неискренний зачин вызвал мужественный взрыв смеха. Криводушие его восхитило Вернона: поистине византийская глубина и замысловатость. На ум ему пришло полированное кованое золотое блюдо с полуистершимися иероглифами.

Макдональд перечислил свои сомнения: вме-

---

[21] Примечания: 21
Масвелл-Хилл — северный пригород Лондона.

шательство в частную жизнь, методы бульварной журналистики, подспудные мотивы и так далее. Затем он подошел к зерну своей речи и повысил голос. Донесение Фрэнка было точным.

— Но с годами я усвоил, что в нашем деле бывают моменты — нечасто, конечно, — когда собственное мнение должно отойти на задний план. Вернон вел свою линию со страстью и убийственным журналистским чутьем, и в этом здании возникла та атмосфера, то сознание нашей важности, которые напоминают мне о старых добрых временах трехдневной недели,[22] когда мы действительно умели заставить себя слушать. Сегодня наши тиражи говорят сами за себя — мы поймали настроение публики. Итак, — Грант, сияя, повернулся к редактору, — мы снова на коне, и это благодаря вам. Тысяча благодарностей, Вернон!

После громких аплодисментов с короткими поздравлениями выступили другие. Вернон сидел, скрестив руки, с серьезным лицом, упершись взглядом в рисунок дерева на полированном

---

[22] Примечания: 22

Трехдневная рабочая неделя со сниженной зарплатой была введена консерваторами в 1973 г. в связи с нехваткой энергии, вызванной забастовкой шахтеров. В 1974 г. отменена лейбористским правительством.

столе. Хотелось улыбнуться, но это было бы неуместно. Он с удовлетворением наблюдал, как Тони Монтано, директор-распорядитель, незаметно записывает, кто что сказал. Кто союзник. Его надо будет отвести в сторону и успокоить насчет Диббена, который совсем сполз в кресле и, глубоко засунув руки в карманы, хмурится и качает головой.

Вернон встал, чтобы видно было тем, кто сзади, и поблагодарил собравшихся. Ему известно, сказал он, что большинство из них в тот или иной период были против публикации. Но он благодарен за это, ибо в некоторых отношениях журналистика сходна с наукой: лучшие идеи — те, которые выживают и укрепляются в столкновении с умной оппозицией. Этот шаткий образ снискал аплодисменты; значит, нечего стыдиться, нечего опасаться возмездия свыше. К тому времени, когда смолкли рукоплескания, Вернон смог протиснуться к доске, висевшей на стене. Он отодрал липкую ленту, которой был прикреплен большой лист белой бумаги, и открыл двукратно увеличенный макет завтрашней первой полосы. Фотография занимала всю ширину восьми колонок и под шапкой — верхние три четверти полосы по высоте. Умолкшее собрание

созерцало платье простого покроя, воображаемое дефиле, дерзкую позу, притворно отталкивающую взгляд камеры, маленькие груди, искусно выпущенную лямку лифчика, слабый румянец грима на скулах, помаду, нежно имитирующую припухлость слегка надутых губ, затаенный зовущий взгляд — видоизмененную, но легко узнаваемую государственную личность. Под этим посередине, тридцать вторым кеглем, строчными буквами жирным шрифтом одна строка: «Джулиан Гармони, министр иностранных дел». Собрание, шумливое перед этим, затихло совершенно, и тишина длилась полминуты. Потом Вернон откашлялся и стал излагать стратегию на субботу и понедельник. Как сказал потом в столовой один молодой журналист другому, это было все равно что увидеть знакомого тебе человека публично раздетым и выпоротым. Голеньким и наказанным. Несмотря на это, по общественному мнению, сложившемуся после того, как люди разошлись по своим рабочим местам, и укрепившемуся после обеда, работа была выполнена на высочайшем профессиональном уровне. Первая полоса — классика, и когда-нибудь по ней будут учить на факультетах журналистики. Визуальное впечатление от нее — незабываемое по своей

простоте, четкости и силе. Макдональд прав, чутье у Вернона безошибочное. Он метил в сонную артерию, когда вынес весь текст на вторую полосу, не соблазнившись кричащим заголовком и многословным врезом. Он знал силу своего материала. Фотографией все сказано.

Когда последний человек вышел из кабинета, Вернон закрыл дверь и распахнул окна на влажную мартовскую улицу, чтобы выгнать спертый воздух. До следующего совещания оставалось пять минут, и ему надо было собраться с мыслями. По внутреннему телефону он сказал Джин, чтобы его не беспокоили. В голове крутилась и крутилась одна мысль: прошло хорошо, прошло хорошо. Но было что-то… Что-то важное, какая-то новая информация, он должен был на нее откликнуться, но его отвлекли, а потом он забыл, ее смело потоком других соображений. Чье-то замечание, обрывок, который тогда его удивил. Надо было тогда же отреагировать.

Так и не вернулось это до конца дня, покуда он снова не остался один. Он стоял у доски, пытаясь воскресить то мимолетное ощущение неожиданности. Он закрыл глаза и стал последовательно вспоминать утреннее совещание, все, что там было сказано. Но сконцентрироваться на задаче не

мог, мысли блуждали. Все идет хорошо, все идет хорошо. Если бы не эта мелочь, он бы обнимал себя, плясал на столе. Вот так же было и утром, когда он лежал в постели, размышляя о своих успехах, и не мог вполне насладиться ими только из-за того, что его не одобрил Клайв.

И тут вспомнилось. Клайв. Едва он произнес про себя имя друга, все встало на место. Он прошел в другой конец кабинета, к телефону. Все просто и, кажется, возмутительно.

— Джереми? Можете ко мне зайти?

Джереми Болл явился через минуту. Вернон усадил его и повел допрос, записывая даты, место, время суток, известные факты, предполагаемые. Один раз Джереми позвонил по телефону, чтобы уточнить какие-то детали у репортера, работавшего по этому делу. Как только редактор внутреннего отдела покинул кабинет, Вернон по личному телефону позвонил Клайву. Снова продолжительные скрипы в поднятой трубке, шорох простыней, хриплый голос. Пятый час, что там с Клайвом, валяется весь день, как депрессивный подросток?

— А, Вернон? Я как раз…

— Слушай — что ты сказал утром? Я должен тебя спросить. Когда ты был на озерах?

— На прошлой неделе.

— Клайв, это важно. Какой это был день?

Кряхтение, скрип — Клайв пытался сесть.

— Наверное, пятница. А в чем?..

— Ты видел мужчину — нет, подожди. В котором часу ты шел через Аллен-Крагс?

— Около часу, кажется.

— Слушай. Ты видел, как человек напал на женщину, и решил не помогать. Это был Насильник Озерного края.

— Не слышал о таком.

— Ты что, газет не читаешь? За последний год он восемь раз нападал на женщин, в основном на туристок. Этой удалось уйти.

— Слава богу.

— Нет, не слава богу. Два дня назад он снова совершил нападение. Вчера его арестовали.

— Вот и хорошо.

— Нет, нехорошо. Ты не захотел помочь женщине. Ладно. Но если бы после этого ты пошел в полицию, не пострадала бы другая.

Короткая пауза: Клайв обдумывал его слова или собирался с силами. Теперь он окончательно проснулся и заговорил твердо.

— Одно из другого не следует, — сказал он. — Но пусть. Почему ты повышаешь голос, Вернон?

Очередной маниакальный цикл? Чего конкретно ты хочешь?

— Я хочу, чтобы ты сейчас же пошел в полицию и рассказал, что ты видел…

— Не может быть и речи.

— Ты мог бы опознать его.

— Я сейчас заканчиваю симфонию, которая…

— Ни черта подобного. Ты лежишь в постели.

— Не твое дело.

— Это возмутительно. Иди в полицию, Клайв. Это твой моральный долг.

Шумный вдох на том конце, снова пауза, обдумывание ответа, затем:

— Ты объясняешь мне мой моральный долг? Ты? Это ты-то?

— В каком смысле?

— В смысле твоих фотографий, в смысле гадить на могилу Молли…

Упоминание экскрементов в связи с несуществующим захоронением знаменовало ту поворотную точку в диспуте, когда сдерживающие центры перестают действовать. Вернон перебил:

— Ты ничего не знаешь, Клайв. Живешь привилегированной жизнью и ни бельмеса ни в чем не смыслишь.

— В смысле подсиживать человека. В смысле грязной журналистики. Как ты себя выносишь?

— Можешь бесноваться сколько влезет. Ты не владеешь собой. Если не пойдешь в полицию, я позвоню туда сам и расскажу, что ты видел. Соучастие в попытке изнасилования.

— Ты в своем уме? Как ты смеешь мне угрожать?

— Есть кое-что поважнее симфоний. Это кое-что — люди.

— И эти люди так же важны, как размеры тиража?

— Иди в полицию.

— Иди в жопу.

— Сам иди.

Вдруг дверь в кабинет Вернона открылась; там стояла Джин, изнывая от тревоги.

— Извините, что прервала ваш частный разговор, мистер Холлидей, — сказала она. — Но, по-моему, вам надо включить телевизор. Миссис Джулиан Гармони собрала пресс-конференцию. Первый канал.

4

Партийные стратеги долго и напряженно обдумывали ситуацию и приняли несколько

разумных решений. Во-первых, пустить утром телевизионщиков в знаменитую детскую больницу и заснять усталую, но счастливую миссис Гармони, выходящую из операционной после операции на открытом сердце, которую она сделала девятилетней черной девочке по имени Кенди. Хирурга сняли также во время обхода: она идет в сопровождении почтительных нянек и регистраторш, и дети обнимают ее с явным обожанием. Затем короткий сюжет на больничной стоянке — слезная встреча миссис Гармони с благодарными родителями девочки. Это были первые картины, которые увидел Вернон после того, как бросил трубку и, напрасно переворошив бумаги на столе в поисках дистанционного пульта, подбежал к установленному высоко в углу телевизору. Пока плачущий отец нагружал хирурга полудюжиной ананасов, закадровый голос объяснил, что в медицинской иерархии можно достичь таких высот, когда вас уже неловко называть «доктор». Вот такая вам миссис Гармони. Джин вышла на цыпочках, неслышно прикрыв за собой дверь, а Вернон с еще не унявшимся после ссоры сердцебиением вернулся за стол, чтобы смотреть дальше. Теперь мы перенеслись в Уилтшир, на какое-то возвышенное место, и смотрим оттуда

на окаймленный деревьями ручей, вьющийся между лысыми округлыми холмами. Возле деревьев приютился симпатичный фермерский дом, и, пока комментатор обрисовывал известную предысторию дела Гармони, камера начала медленный долгий наезд, закончившийся овцой, кормящей новорожденного ягненка на лужайке, вблизи кустарника, прямо у входной двери. Это было еще одним партийным решением — отправить супругов и двух их взрослых детей, Аннабеллу и Неда, в их загородный дом на выходные, как только Роз закончит в больнице. Вернон увидел семейство: одетые в свитера и дождевики, они смотрели в камеру поверх низких решетчатых ворот, вместе с овчаркой Милли и домашним котом, британским короткошерстным по кличке Брайан, которого любовно прижимала к груди Аннабелла. Они как будто вышли на поклоны после спектакля, только министр, вопреки обыкновению, тушевался, выглядел застенчиво, даже робко, потому что центром события была его жена. Вернон знал, что дела у Гармони швах, но невольно кивнул, признавая его умение подать себя публике и профессионализм постановки.

Комментатор замолчал, и пошел синхронный звук — щелчки, жужжание фотокамер с электри-

ческим приводом, обиженные голоса за кадром. Судя по тому, как перекашивалась и болталась картинка, там имела место изрядная толчея. В кадре мелькнуло небо, затем ботинки оператора и оранжевая лента. Вероятно, большая компания собралась за этой лентой. Наконец камера нашла миссис Гармони и успокоилась, и жена министра, прочистив горло, приготовилась сделать заявление. У нее что-то было в руке, но она не собиралась читать по бумажке. Выдержав паузу и убедившись, что внимание публики обращено на нее, она рассказала вкратце историю их брака с тех времен, когда она училась в Гилдхолльской школе музыки и драмы и мечтала стать пианисткой, а Джулиан был нищим жизнерадостным студентом юридического факультета. Годы тяжелой работы и скудости; однокомнатная квартира на юге Лондона, рождение Аннабеллы, несколько запоздалое решение изучать медицину, твердая поддержка со стороны Джулиана, гордость их первым домом, купленным в менее популярной части Фулхема, рождение Неда, успехи Джулиана на адвокатском поприще, ее первая интернатура и так далее. Тон ее был спокойным, даже доверительным, и сказанному придавали вес не столько ее классовая принадлежность, статус

жены министра, сколько ее собственные профессиональные заслуги. Она говорила о том, как горда достижениями мужа, каким счастьем для них были дети, как они делили радости и огорчения, как ценили всегда веселье, дисциплину и превыше всего — честность.

Она умолкла и улыбнулась как бы своим мыслям. В самом начале, продолжала она, Джулиан сделал ей одно признание, довольно поразительное, даже несколько шокирующее. Но любви их это не могло быть преградой, а с годами она стала видеть в этом свою прелесть и стала относиться к этому с уважением, как к неотъемлемой черте его индивидуальности. Они доверяли друг другу безгранично. Да и не таким уж это было секретом: друг дома, недавно умершая Молли Лейн, однажды сделала несколько снимков, можно сказать, в карнавальном духе. Миссис Гармони подняла белую картонную папку, и в это время Аннабелла поцеловала отца в щеку, а Нед, у которого теперь стала видна запонка в носу, положил руку ему на плечо.

— О боже, — прохрипел Вернон, — контрход.

Она вынула фотографии и продемонстрировала первую. Дефиле, фото первой полосы. Камера задрожала во время наезда: толчки и крики в

толпе за лентой. Миссис Гармони подождала, когда затихнет шум. После этого она спокойно сказала, что газета известного политического направления намерена завтра опубликовать эту и другие фотографии в надежде сместить ее мужа с поста. Она одно может сказать: газете это не удастся, потому что любовь сильнее злобы.

Ограждение пало, и журналистская братия ринулась вперед. За решетчатыми воротами дети взяли отца под руки, а их мать стояла, не дрогнув, перед ордой и сунутыми в лицо микрофонами. Вернон выскочил из кресла. Нет, говорила миссис Гармони, она рада, что может наконец внести ясность и заявить во всеуслышание, что эти слухи совершенно беспочвенны. Молли Лейн была просто другом дома, и они всегда будут вспоминать ее с теплым чувством. Вернон уже пошел выключать эту штуку, но тут хирурга спросили, не хочет ли она обратиться особо к редактору газеты «Джадж». Да, сказала она, хочет, и посмотрела на него, и он застыл перед телевизором.

— Мистер Холлидей, у вас душа шантажиста и моральные принципы *блохи.*

Вернон охнул с болезненным восхищением — что-что, а забойное словцо он умел расслышать. Вопрос был подставкой, реплика — заготовкой.

Какой артистизм!

Роз Гармони намеревалась продолжить, но он заставил себя поднять руку и выключил телевизор.

5

Часам к пяти того дня многим редакторам газет, тоже пытавшимся купить фотографии Молли, пришло в голову, что газета Вернона, к несчастью своему, не успевает за стремительным ходом времени. Как заключила в пятницу утром передовая статья одной из них: «Редактор „Джадж“, кажется, упустил из виду тот факт, что мы живем в нынешнем десятилетии, а не в прошлом. Тогда карьеризм был лозунгом дня, а ханжество и алчность — неприглядными реалиями. Сегодня у нас более разумная, более терпимая эпоха, где есть место состраданию и невинные личные склонности человека, даже находящегося на общественной авансцене, считаются его частным делом. Там, где не затронуты впрямую интересы общества, старинное ремесло шантажиста и самодовольного соглядатая не находит спроса, и, не желая принизить моральные принципы блохи обыкновенной, мы тем не менее вынуждены присоединиться к вчерашнему замечанию…» и т. д.

Заголовки на первых полосах разделились примерно поровну между «блохой» и «шантажистом», и почти на всех появилась фотография Вернона в замявшемся смокинге, слегка окосевшего на банкете в агентстве «Пресс ассошиэйшн». Днем в пятницу две тысячи членов Розового союза трансвеститов, все на высоких каблуках, пришли маршем к зданию «Джадж», размахивая копиями позорной первой страницы и выкрикивая фальцетом издевательские лозунги. Примерно в это же время парламентская фракция, воспользовавшись моментом, поставила вопрос о доверии министру иностранных дел и выиграла с подавляющим преимуществом. Премьер во внезапном приливе смелости встал на защиту старого друга. В субботу общее мнение склонилось к тому, что «Джадж» слишком далеко зашла и опозорила себя, что Джулиан Гармони — порядочный малый, а Вернон Холлидей («блоха») — презренный писака и голова его срочно требуется на блюде. В воскресных выпусках разделы, посвященные образу жизни, живописали новый образ «жены-союзницы», которая преуспевает в собственной профессии и сражается плечом к плечу с мужем. Редакционные статьи были посвящены прежде не затронутым аспектам выступления миссис

Гармони, таким как «любовь сильнее злобы». В самой же «Джадж» старшие сотрудники радовались тому, что их сомнения были запротоколированы, и, по мнению большинства, Грант Макдональд показал образец поведения, заявив в столовой, что, раз уж к его опасениям не прислушались, он будет верен линии руководства. К понедельнику все вспомнили о своих опасениях и верности руководству.

Несколько сложнее была ситуация в совете директоров, срочно собравшемся в понедельник после обеда. Даже мучительнее. Как уволить редактора, которого еще в среду единодушно поддержали?

Наконец после двухчасовых прений и реминисценций Джорджу Лейну пришла в голову хорошая мысль.

— Слушайте, ничего плохого в покупке этих фотографий не было. Скажу вам больше: по слухам, он купил их довольно выгодно. Нет, ошибка Холлидея в том, что он не снял первую полосу в ту же минуту, когда увидел пресс-конференцию Роз Гармони. У него было время все переиграть. Материал шел только в вечерний выпуск. Напрасно он продолжал настаивать. В пятницу газета выставила себя в смешном свете. Он дол-

жен был почувствовать, куда дует ветер, и дать отбой. На мой взгляд, это серьезный редакторский просчет.

6

На другой день главный редактор председательствовал на притихшем совещании старших сотрудников. Тони Монтано сидел сбоку безмолвным наблюдателем.

— Пора давать больше авторских колонок. Они дешевы, и все их дают. Знаете, нанимаем автора с интеллектом от низкого до среднего, возможно, женщину, чтобы писала, ну, ни о чем особенном. Вы видели. Сходила на прием и не может вспомнить чьего-то имени. Тысяча двести слов.

— Типа созерцания своего пупа, — вставил Джереми Болл.

— Не совсем. Созерцание — слишком интеллектуально. Скорее, пупковый треп.

— Не умеет пользоваться своим видеомагнитофоном. Моя попа не слишком велика? — подхватила Леттис.

— Вот, хорошо. Давайте подбрасывайте. — Редактор пошевелил и подгреб в воздухе пальцами, призывая свежие идеи.

— Э, купила морскую свинку.

— Его похмелья.

— Ее первый седой волос на лобке.

— В супермаркете всегда достается тележка с расшатанным колесом.

— Великолепно. Мне нравится. Харви? Грант?

— Хм, всегда теряет шариковые ручки. Куда они деваются?

— Все время трогает языком дырочку в зубе.

— Превосходно, — сказал Фрэнк. — Всем спасибо. Завтра продолжим.

V

1

Бывали минуты ранним утром — с рассветом приходит слабое волнение, и вот уже шумно потек на работу Лондон, — когда творческие всполохи гасли от усталости и Клайв вставал из-за рояля, брел к двери гасить в студии свет, оглядывался на роскошный хаос, окружавший его труды, и снова мелькала в голове мысль, крохотная искра подозрения, которым он не поделился бы ни с кем на свете, не доверил бы даже дневнику и ключевое слово которого складывал в мозгу неохотно; заключалась же мысль попросту в том, что, возможно, не будет преувеличением сказать, что он… гений. Гений. Хотя он виновато озвучивал это слово для внутреннего слуха, до уст его все же не допускал. Это слово пострадало от инфляции и затерлось, но, несомненно, есть определенный уровень достижений, недискутируемый, превыше мнений — золотой стандарт. Их было немного. Из соотечественников — Шекспир, конечно, и говорят, что Дарвин с Ньютоном. Перселл — почти. Бриттен — меньше, хотя близ-

ко. Но Бетховена здесь не было.

Когда у него мелькало такое подозрение насчет себя — а случилось это три или четыре раза после возвращения с Озер, — мир становился большим и неподвижным, и в сизом свете мартовского утра его кабинетный рояль, тарелки и чашки, кресло Молли приобретали скульптурную округлость, напоминавшую о том, какими увиделись ему вещи однажды в молодости, когда он принял мескалин:[23] раздавшимися в объеме, исполненными ласковой значительности. И, уходя из студии спать, он видел ее такой, какой она могла предстать в документальном фильме, который откроет любопытному миру, как рождался шедевр. И — себя, нерезко, с обратной точки: фигуру, замешкавшуюся у двери, в несвежей свободной белой рубахе, в джинсах, стянувших выпуклость живота, потемневшие, налитые усталостью глаза — композитор, героический и милый в своей щетинистой всклокоченности. То были поистине великие минуты среди радостного творческого плодоношения, подобного которому он еще не переживал, — минуты, когда он отрывался от работы почти в галлюцинаторном состоянии,

[23] Примечания: 23
Мескалин — галлюциноген, приготовляемый из некоторых кактусов.

сплывал по лестнице в спальню, скидывал туфли и закатывался под одеяло, чтобы провалиться в сон, который был безвидной пустотой, больным оцепенением, смертью.

Он просыпался в конце дня, надевал туфли и спускался в кухню, чтобы съесть холодную еду, оставленную экономкой. Потом открывал бутылку вина и поднимался с ней в студию, где с полным термосом кофе начнется его новое путешествие в ночь. Где-то за стеной притаился, как зверь, и уже настигал последний срок сдачи. Всего через неделю с небольшим ему предстояло встретиться с Джулио Бо и Британским симфоническим оркестром: два дня репетиций в Амстердаме, а еще через два дня премьера в бирмингемском Фри-Трейд-Холле. Учитывая, что до конца тысячелетия еще не один год, эта спешка нелепа. Чистовик первых трех частей уже сдан, и оркестровые партии расписаны. Несколько раз заходила секретарша, чтобы забрать готовые страницы последней части, и уже работали переписчики. Теперь оглядываться назад было нечего — только вперед, в надежде закончить до следующей недели. Он ворчал, но в душе был не против этой гонки, ибо только так ему и надо было сейчас работать — отринув все в могучем

усилии довести свой труд до потрясающего финала. Уже преодолены древние каменные ступени, уже опали и растаяли туманные струйки звуков, и новая мелодия, в своем первом одиноком появлении сумрачно изложенная засурдиненным тромбоном, собрала вокруг себя богатые оркестровые краски сложной гармонии, затем диссонансов и вихри вариаций, отлетающие в пространство, чтобы больше не вернуться, и наконец сжалась, убралась в себя, как взрыв, увиденный в обратном времени, стянулась в геометрическую точку тишины; затем опять засурдиненный тромбон, а затем в приглушенном крещендо — словно гигант набрал воздуху в грудь — последнее колоссальное воплощение мелодии (с одним интригующим, но еще не придуманным отклонением), которая набирает ход, вздымается волной, стремительным цунами звука, разгоняясь до немыслимой быстроты, громоздится все выше — и обваливается, рушится головокружительно, дробясь о твердую опорную ступень до минора. Остаются педальные ноты, обещающие успокоение и мир в бесконечном пространстве. Затем диминуэндо протяженностью в сорок пять секунд, и над ним смыкаются четыре такта партитурной тишины. Конец.

Все было почти завершено. В ночь со среды на четверг Клайв пересматривал и уточнял диминуэндо. Теперь оставалось только вернуться на несколько страниц назад, к последнему шумному появлению темы, и, может быть, изменить гармонии или даже ее саму, задать какой-то встречный подспудный ритм, синкопировать ее, взломав ребро мелодической атаки. Эту вариацию Клайв считал решающей в настроении финала; она должна стать намеком на непознаваемость будущего. Когда эта знакомая уже мелодия вернется в последний раз с небольшим, но знаменательным изменением, она должна отнять у слушателя ощущение безопасности: предупредить, чтобы мы не слишком держались за то, что знаем.

В четверг утром он лежал в постели, думая над этим, и уже засыпал, когда позвонил Вернон. Звонок его обрадовал. Клайв сам собирался связаться с Верноном, когда вернулся, но работа захватила его, и Гармони, фотографии, «Джадж» казались уже побочными сюжетными линиями наполовину забытого кинофильма. Его одно волновало: он не хотел ссориться ни с кем, тем более с одним из самых давних друзей. Когда Вернон прервал разговор, пообещав, что завтра вечером зайдет выпить, Клайв подумал, что к тому времени

он, пожалуй, закончит работу. Он напишет эту последнюю важную вариацию — одной ночи должно хватить. Последние страницы отправит и, может быть, позовет кое-кого из друзей отпраздновать. С такими приятными мыслями он погрузился в сон. Поэтому новый звонок, раздавшийся, казалось, через две минуты, и грубый допрос, учиненный Верноном, выбили Клайва из колеи.

«Я хочу, чтобы ты сейчас же пошел в полицию и рассказал, что ты видел».

Эта фраза открыла Клайву глаза на истину. Он вынырнул из тоннеля на свет. Точнее говоря, в памяти воскресла поездка в Пенрит и все полузабытые прозрения в вагоне, их горький вкус. Каждый обмен репликами был как щелчок храповика — без возврата и вежливости. Воззвав к памяти Молли — «в смысле гадить на ее могилу», — Клайв окунулся в жаркую волну негодования, и, когда Вернон бесстыдно пригрозил, что сам донесет в полицию, Клайв задохнулся, сбросил ногами одеяло и встал в носках у тумбочки для заключительной перепалки. Вернон бросил трубку — как раз тогда, когда он сам хотел бросить. Не потрудившись зашнуровать туфли, Клайв с яростной руганью сбежал по лестнице.

Еще не было пяти, но он хотел выпить, он заслужил это, он ударил бы любого, кто попытался бы ему помешать. Но, слава богу, он был один. Джин с тоником, но большей частью джин, без льда и без лимона — он проглотил его у раковины, озлобленно думая об этом безобразии. Безобразие! Он складывал в уме письмо, которое следовало бы послать этому мерзавцу, считавшемуся другом. Этому, с его ежедневными побегушками, с его грязным, циничным, интриганским умом, пресмыкательской, прихлебательской, лицемерной, пассивно-агрессивной душонкой. Вертун Холлидей, не ведающий, что такое творчество, потому что ничего хорошего не сделал в жизни, снедаемый ненавистью к тем, кому это дано. И это его жалкое буржуазное фарисейство, выдаваемое за нравственную позицию, а у самого руки по локоть в говне, воистину раскинул шатер на фекалиях и, чтобы соблюсти свой подлый интерес, с радостью готов надругаться над памятью Молли, погубить беззащитного дурака Гармони и, сея ненависть по всем правилам желтой прессы, уверять себя при этом и вдалбливать всякому, кто согласится слушать — вот отчего задохнешься, — что выполняет свой долг, что служит высоким идеалам. Он больной, он сумасшедший, ему не

место на земле!

За этими кухонными диатрибами был выпит второй стакан, потом третий. Он знал по опыту, что письмо, отправленное в ярости, лишь вкладывает оружие в руки твоего врага. Яд в сохранной форме, который используют против тебя в сколь угодно отдаленном будущем. Но Клайву хотелось написать сейчас — именно потому, что через неделю чувства могут ослабнуть. Он принял компромиссное решение, ограничившись лаконичной открыткой, которая вылежит день до того, как отправится в ящик. *Твоя угроза ужасает меня. А также твоя журналистика. Ты заслуживаешь увольнения. Клайв.* Он открыл бутылку шабли и, презрев запеченного лосося в холодильнике, поднялся на верхний этаж с воинственным намерением работать. Настанет время, когда от Прохиндея Холлидея ничего не останется, а вот от Клайва Линли останется музыка. Работа, да, тихая, упорная, вдохновенная работа будет своего рода отмщением. Но воинственность — плохая помощница сосредоточенности, так же как три джина с бутылкой вина, и три часа спустя он все еще сидел в согбенной рабочей позе, уставясь в партитуру на рояле, но видел и слышал только яркую карусель — шарманку своих мыслей, все

те же жесткие лошадки носились по кругу на оплетенных лентами штангах. Опять поскакали. Безобразие! Полиция! Бедная Молли! Гнусный ханжа! И это — нравственные принципы! По уши в говне! *Безобразие!* А как же Молли?..

В девять тридцать он встал, решил взять себя в руки, выпить красного вина и заняться работой. Его прекрасная тема, его песня лежала перед ним на странице, жаждала его внимания, нуждалась в одном вдохновенном изменении — и вот он тут, заряжен сфокусированной энергией, готов совершить. Однако внизу, на кухне, он задержался над вновь обнаруженным ужином, слушая историю марокканских кочевников-туарегов по радио, после чего с третьим бокалом бандоля отправился странствовать по дому — антропологом по собственному ареалу. В гостиную он не заглядывал больше недели и сейчас, бродя по огромной комнате, рассматривал картины и фотографии словно в первый раз, проводил рукой по креслам, снимал вещи с каминной полки. Вся его жизнь была здесь — и какая богатая история! Деньги на покупку даже самого дешевого из этих предметов Клайв заработал, изобретая звуки, ставя одну ноту за другой. Все здесь рождено его воображением, собрано его волей, без чьей-ли-

бо помощи. Он выпил за свой успех, залпом, и вернулся на кухню налить еще перед экскурсией по столовой. В одиннадцать тридцать он снова вернулся к партитуре, но ноты на линейках не желали сидеть спокойно, даже ради него, и он был вынужден согласиться с собой, что серьезно пьян, — а кто бы не напился после таких предательств? На книжной полке стояло полбутылки виски, которое он взял с собой в кресло Молли, а на проигрывателе стояло что-то Равеля. Последним его воспоминанием об этом вечере было то, что он взял пульт дистанционного управления и направил его на проигрыватель.

Проснулся он перед рассветом в съехавших набекрень наушниках и с чудовищной жаждой от сна, где он на четвереньках пересекал пустыню, таща на себе единственный концертный рояль туарегов. Он попил из крана в ванной, уложил себя в постель и лежал, час за часом, с открытыми глазами, изнуренный, обезвоженный и встревоженный, и снова принужден был беспомощно состоять при своей карусели. *По уши в говне? Нравственная позиция? Молли?*

Пробудившись от короткого сна в середине утра, он понял, что творческий шквал закончился. И дело было не только в усталости и похмелье.

Едва он сел за рояль и попробовал две-три вариации, как выяснилось, что не только этот пассаж, но и вся часть умерла — пеплом стал хлеб во рту у него.[24] Он не осмеливался всерьез подумать о самой симфонии. Когда позвонила секретарша договориться о том, чтобы забрать последние страницы, он был резок с ней и потом пришлось звонить самому, извиняться. Он вышел на улицу, чтобы проветрить голову и отправить Вернону открытку, которая читалась сегодня как шедевр сдержанности. По дороге купил газету «Джадж»; чтобы не отвлекаться, он отказался от газет, от теле- и радионовостей и в результате пропустил весь период раскрутки.

Поэтому он испытал шок, когда, придя домой, развернул на кухонном столе газету. Гармони позирует, кокетничает перед Молли; камера в ее теплых руках, ее живой глаз ловит в видоискателе то, что сейчас показали Клайву. Но первая страница ошарашивала не потому — или не только потому, — что человека застигли в щекотливом положении, а потому, что газета взвинтила себя до такого исступления и пустила в ход такие сильные средства. Словно раскрыт

---

[24] Примечания: 24

«Я ем пепел, как хлеб, и питие мое растворяю слезами» (Пс. 101, 10).

какой-то преступный политический заговор или труп найден под столом в Министерстве иностранных дел. Так нецивилизованно, так несоразмерно, так топорно. И столько бездарности в этих стараниях газеты быть жестокой. Например, преувеличенно-издевательская карикатура и передовая статья с дешевой игрой слов «партия синих»[25] и «партия голубых», рассчитанной на быдло, и «Талейраном в юбке», и хилым каламбуром «облачение» — «разоблачение». Снова вернулась мысль: Вернон не только отвратителен, он определенно сумасшедший. Что, однако, не мешало Клайву его ненавидеть.

Похмелье продолжалось оба выходных, залезло в понедельник — нынче восстанавливаешься не так быстро, — и общая тошнота создавала подходящий фон для горьких размышлений. Работа застряла. Вчерашний роскошный плод сделался сухой былинкой. Переписчики рвались получить последние двенадцать страниц партитуры. Директор оркестра звонил трижды, и голос его дрожал от сдерживаемой паники. Концертгебау[26] арендован со следующей пятницы на два

[25] Примечания: 25
Синий цвет — символ Консервативной партии.

[26] Примечания: 26
Концертгебау — главный концертный зал Амстердама.

дня репетиций за дикие деньги, приглашены по просьбе Клайва дополнительный ударник и аккордеонист. Джулио Бо с нетерпением ждет конец партитуры, и в Бирмингеме все уже согласовано. Если к четвергу в Амстердаме не будет всех оркестровых партий, ему — директору — не останется ничего другого, как утопиться в ближайшем канале. Утешительно было слышать о чьих-то мучениях, превосходящих твои; тем не менее Клайв отказывался отдать последние страницы. Он тянул из-за этой важной вариации, и, как бывает в таких случаях, ему уже казалось, что от нее зависит все здание симфонии.

То была, конечно, гибельная идея. Когда он вошел в студию, грязь повергла его в уныние, а когда сел за партитуру — рукопись более молодого, уверенного и одаренного человека, — оказалось, что не может из-за Вернона работать, и гнев его удвоился. Потерял сосредоточенность. Из-за идиота. Становилось ясно, что у него отняли шедевр, вершинное произведение всей его жизни. Эта симфония научила бы публику, как надо слушать — *слышать* — все, что он написал прежде. А теперь доказательство, знак гения — испорчены, украдено величие. Ибо Клайв знал, что больше никогда не возьмется за сочинение такого мас-

штаба, — слишком устал, слишком опустошен, слишком стар. В воскресенье он лодырничал в гостиной, дочитывая пятничный номер газеты. В мире обычный бедлам: рыбы меняют пол, британский настольный теннис в упадке, а в Голландии нечистоплотные типы с дипломами медиков берутся законным образом устранять неудобных престарелых родителей. Как интересно. Нужна всего-навсего родительская подпись в двух местах да несколько тысяч долларов. Под вечер он долго гулял по Гайд-парку, раздумывая над этой статьей. Ведь он заключил соглашение с Верноном, и, хочешь не хочешь, оно накладывает определенные обязательства. Пожалуй, надо будет провести небольшие изыскания. Но понедельник он убил на симуляцию работы, ковыряние в партитуре, которое было самообманом, — и у него хватило здравого смысла вечером это бросить. Все идеи, приходившие в голову, были плоскими. Его нельзя подпускать к этой симфонии; он недостоин своего творения.

Во вторник его разбудил директор оркестра — и буквально кричал на него по телефону. В пятницу репетиция, а полной партитуры до сих пор нет. Позже тем же утром приятель сообщил ему по телефону поразительную новость. Вернона

вынудили подать в отставку! Клайв выскочил за газетами. После пятничного номера он ничего не читал и не слушал — иначе знал бы, что общественное мнение повернулось против редактора «Джадж». Взяв чашку кофе, он ушел в столовую и там прочел газеты. С мрачным удовлетворением выяснил, что его мнение о затее Вернона подтвердилось. Он свой долг в отношении Вернона выполнил, он предостерег, но Вернон не пожелал его слушать. Прочтя три едкие, разносные статьи, Клайв подошел к окну и посмотрел на желтые нарциссы, росшие под яблоней в конце сада. На душе у него полегчало — он не мог этого отрицать. Весна началась. Скоро время передвинут на час. После премьеры, в апреле он полетит в Нью-Йорк, к Сюзи Марселлан. Потом в Калифорнию, на музыкальный фестиваль в Пало-Альто, где исполняется его пьеса. Он поймал себя на том, что отбивает пальцем на радиаторе какой-то новый ритм, и вообразил смену настроения, тональности, ноту, выдерживаемую на смене гармоний, и свирепый бой литавр. Он повернулся и поспешил в студию. Была идея, четверть идеи, и, пока не улетучилась, надо успеть к роялю.

В студии он скинул на пол книги и ноты, чтобы очистить место, взял лист нотной бумаги и ост-

рый карандаш, но едва изобразил скрипичный ключ, как в дверь позвонили. Рука его замерла; он ждал. Снова звонок. Не открывать. Только не сейчас, когда готова родиться вариация. Стоит там какой-нибудь якобы бывший шахтер и будет всучивать покрышку для гладильной доски. Снова звонок, и тишина. Ушли. На мгновение хлипкая идея исчезла. Потом вернулась, частично: он провел нотную палочку — зазвонил телефон. Надо было выключить. С раздражением схватил трубку.

— Мистер Линли?

— Да.

— Полиция. Отдел уголовного розыска. Стоим у вас под дверью. Хотелось бы поговорить.

— О, слушайте, нельзя ли через полчаса?

— Боюсь, что нет. К вам несколько вопросов. Возможно, попросим вас присутствовать на опознании в Манчестере. Чтобы нам задержать подозреваемого. Отнимет у вас дня два, не больше. Так что не откажите открыть, мистер Линли…

2

Торопясь на работу, Манди оставила дверцу гардероба приоткрытой, так что зеркало предъявило

Вернону нелестный вертикальный ломтик его персоны: на высоких подушках, с поданной ему кружкой кофе на животе, небритое, бело-сизое в сумерках спальни лицо, рассыпанные по одеялу письма, рекламные листовки, газеты — аллегория безработицы. *Незанятость.* Он вдруг осознал это слово с деловой страницы. Сегодня, утром вторника, его ожидало много незанятых часов, чтобы поразмыслить об унижениях и насмешках судьбы, сопровождавших его вчерашнюю отставку. Хотя бы — что письмо ему в приемную принесла невинная литсотрудница, та самая хнычущая малограмотная, которую он не дал выгнать. И само письмо — с вежливой просьбой об отставке, в обмен на что предлагалось годовое жалованье. С глухими намеками на условия его контракта, в соответствии с которым, как он понял, директора хотели напомнить ему, не выражая это впрямую, что, если он откажется и они будут вынуждены его уволить, компенсации вообще не будет. Письмо заканчивалось любезным уведомлением о том, что в любом случае его пребывание в должности с нынешнего дня прекращается; совет поздравляет его с блестящей работой на посту главного редактора и желает ему успехов в дальнейших трудах. Вот так. Он

может убираться — с невысокой шестизначной суммой или без оной, по его усмотрению.

В своем заявлении об уходе Вернон отметил, что тираж вырос больше чем на сто тысяч. Само это число, его нули, писать ему было больно. Когда он вышел в приемную, чтобы отдать конверт Джин, ему показалось, что она избегает его взгляда. Он вернулся в кабинет забрать со стола свои вещи. Служебный инстинкт подсказывал ему, что всем уже все известно. Он оставил дверь открытой на случай, если кому-нибудь захочется зайти по-товарищески, протоптанной тропою дружбы. То, что ему надо было собрать, легко умещалось в портфель — фотография в рамке Манди с детьми, два-три порнографических письма от Дейны на бланках палаты общин. Но, кажется, никто не собирался заглянуть к нему и выразить сочувственное возмущение. Не ломилась горластая толпа коллег в рубашках, чтобы на прощанье похлопать по спине, как встарь. Ну что ж, он уходит. Он позвонил Джин и попросил сказать шоферу, что спускается. Через минуту она позвонила сама и сообщила, что шофера у него уже нет.

Он надел пальто, взял портфель и вышел в приемную. Джин нашла себе срочное дело, так что по

дороге к лифту он не встретил никого, ни души. Единственным, кто приветствовал редактора, был вахтер за столом внизу, и он же проинформировал Вернона о его преемнике. Мистер Диббен, сэр. Легчайшим наклоном головы Вернон изобразил, что ему это уже известно. Он вышел из здания под дождь. Хотел остановить такси, но вспомнил, что при нем очень мало наличных. Он отправился в метро и последний километр до дома шел под ливнем. Сразу устремился к виски и, когда пришла Манди, страшно с ней поругался, хотя она пыталась только утешить его.

Вернон обвис над чаем, а его душевный одометр продолжал подсчитывать оскорбления и унижения. Мало того, что Фрэнк оказался предателем, что все коллеги отступились от него, что все газеты радовались его отставке; мало того, что вся страна празднует уничтожение «блохи», а Гармони по-прежнему в седле. На кровати рядом с ним лежала ядовитая открытка, приветствующая его падение, написанная самым старым другом, человеком такой высокой нравственности, что он скорее позволит изнасиловать женщину у себя на глазах, чем прервет работу. Полон ненависти — и безумен. Мстит. Итак, война. Ну что ж. Тогда вперед, без колебаний. Он допил чай, взял трубку

и набрал номер приятеля в Нью-Скотланд-Ярде — они познакомились в ту пору, когда Вернон работал в отделе уголовной хроники. Через пятнадцать минут все детали были изложены, дело сделано, но Вернон никак не мог избавиться от своих мыслей, не был удовлетворен. Оказалось, что Клайв не нарушил закон. Его побеспокоят, предложат выполнить гражданский долг — и больше ничего. А надо больше. Надо, чтобы были последствия. Вернон еще час раздумывал над этой темой в постели, потом наконец оделся, но бриться не стал и все утро кис дома, не подходя к телефону. Для утешения вынул пятничный номер. Что ни говори, а первая полоса великолепна. Все не правы. Да и в целом номер сделан крепко, и Леттис О'Хара отличилась с материалом о Голландии. Когда-нибудь, особенно если Гармони станет премьер-министром и страна будет лежать в руинах, люди пожалеют, что выгнали Вернона Холлидея с работы.

Но утешение было недолгим, потому что то было будущее, а это — настоящее, и в настоящем он уволен. Он сидит дома, когда должен бы сидеть на работе. Он владеет одной профессией, и теперь его никуда не возьмут. Он в опале и слишком стар, чтобы менять специальность.

Утешение было недолгим еще и потому, что мысли все время возвращались к ненавистной открытке: она поворачивалась в нем, как нож, солью жгла его раны и по ходу дня вырастала в символ всех больших и малых оскорблений, доставшихся ему за последние сутки. В этом маленьком послании от Клайва сконцентрировался весь яд событий — слепота его обвинителей, их лицемерие, их мстительность и, самое главное, то, что Вернон считал наихудшим из людских пороков, — личное предательство.

В таком идиоматически насыщенном языке, как английский, возможности для неправильного истолкования возникают то и дело. Простым переносом ударения глагол превращается в существительное, действие — в предмет. Вроде того, как *пасть* в борьбе в два счета может обернуться *пастью* зверя. И с предложениями то же, что со словами. То, что Клайв имел в виду в четверг и отправил по почте в пятницу, значило: Ты заслуживаешь *увольнения.* Во вторник же, после отставки, Вернон не мог прочесть это иначе, чем: Ты *заслуживаешь* увольнения. Приди открытка в понедельник, он мог бы прочесть ее иначе. Такова была комическая сторона их судьбы; лишняя марка сослужила бы обоим добрую службу. С

другой стороны, возможно, что никакого иного исхода их история и не могла иметь; и в этом состояла их трагедия. Раз так, Вернон по ходу дня должен был утвердиться в своей озлобленности и очень кстати вспомнить о договоре, заключенном ими совсем недавно, и об ужасных обязанностях, из него вытекавших. Ибо Клайв явно лишился рассудка, и надо было что-то предпринимать. Эту решимость в Верноне подкрепляла мысль, что в то время, когда мир обходился с ним плохо, когда жизнь его рассыпалась в прах, хуже всех обошелся с ним старый друг — и это непростительно. И безумие. У тех, кто растравляет себя мыслями о несправедливостях, бывает так, что жажда мести полезно соединяется с чувством долга. Текли часы; Вернон несколько раз брал номер своей газеты и читал о медицинском скандале в Голландии. Позже днем он сам навел кое-какие справки по телефону. Опять незанятые текли часы; он сидел на кухне, пил кофе, размышлял о крахе своих жизненных планов и думал, не позвонить ли Клайву с притворным предложением мира, чтобы напроситься в Амстердам.

3

Все ли предусмотрено? Все ли он запомнил? В самом ли деле это законно? Такими вопросами задавался Клайв в салоне «Боинга-757», стоявшего в морозном тумане на северном краю Манчестерского аэропорта. Обещали улучшение погоды, и пилот хотел сохранить за собой место в очереди на взлет, поэтому пассажиры сидели в тишине, утешаясь напитками с тележки. Клайв заказал кофе, бренди и шоколадку. Он сидел в пустом ряду у окна и сквозь разрывы в тумане видел другие лайнеры, в ломаных сходящихся очередях жадно ждавшие старта; было что-то хмурое, грубое в их формах: щели глаз под крохотными мозгами, короткие недоразвитые руки, приподнятые закопченные задницы — такие твари не способны питать симпатию друг к другу.

Ответ был: да, все изучено и спланировано детально. Это должно совершиться, и он испытывал возбуждение. Он сделал знак улыбчивой девушке в нахальной шляпке; она, казалось, была в восторге от его решения выпить вторую карликовую и счастлива ему подать. В общем и целом, учитывая, что ему пришлось перенести, и какое испытание его ожидает, и неизбежное

головокружительное ускорение предстоящих событий, он чувствовал себя неплохо. Первые часы репетиций он пропустит, но слушать, как оркестр ковыляет по новому произведению, — удовольствие маленькое. Имело бы смысл вообще пропустить первый день. Банк заверил его, что везти в портфеле десять тысяч долларов США не противозаконно и в аэропорту Схипхол давать объяснения не придется. Что касается полицейского участка в Манчестере, то с этим он разобрался, на его взгляд, четко, обращались с ним уважительно, и он чуть ли не скучал сейчас по этой суровой, бодрящей атмосфере и замотанным людям, с которыми так славно сработался.

Когда Клайв в отвратительном настроении прибыл с вокзала — всю дорогу от Лондона он ежеминутно проклинал Вернона, — сам главный инспектор вышел в дежурную комнату встречать знаменитого композитора. Он был ужасно благодарен Клайву за то, что тот приехал в такую даль помочь следствию. И все, казалось, ничуть не были раздосадованы тем, что он не объявился раньше. Наоборот, все только рады, говорили ему разные полицейские, что он окажет содействие в этом деле. В первой беседе, когда Клайв давал показания, два детектива поняли, по их словам, как,

должно быть, трудно сочинять симфонию к сроку, в состоянии гонки, и перед какой дилеммой очутился он там, стоя за скалой. Им было очень интересно вникнуть в трудности, связанные с сочинением наиважнейшей мелодии. Не мог бы он напеть ее? Конечно он мог. Время от времени один из них говорил что-нибудь вроде: «А теперь попробуем еще раз вернуться к тому, что вам запомнилось в этом человеке». Оказалось, что главный инспектор пишет дипломную работу по английской литературе в Открытом университете[27] и в особенности интересуется Блейком. В столовой, за сэндвичами с беконом, выяснилось, что инспектор помнит все «Древо яда»[28] наизусть, и Клайв позволил себе рассказать о том, что в 78-м году положил это стихотворение на

---

[27] Примечания: 27

Открытый университет ведет заочное обучение студентов, в частности, с помощью лекций по радио и телевидению Би-би-си.

[28] Примечания: 28

В ярость друг меня привел —
Гнев излил я, гнев прошел.
Враг обиду мне нанес —
Я молчал, но гнев мой рос.

Я таил его в тиши
В глубине своей души,
То слезами поливал,
То улыбкой согревал.

Рос он ночью, рос он днем.
Зрело яблочко на нем,
Яда сладкого полно.
Знал мой недруг, чье оно.

Темной ночью в тишине
Он прокрался в сад ко мне
И остался недвижим,
Ядом скованный моим.

Уильям Блейк. «Древо яда».
Пер. С. Маршака.

музыку, а в следующем году песня исполнялась на Альдебургском фестивале при участии Питера Пейрса[29] и с тех пор больше ни разу. Там же, в столовой, на двух составленных стульях спал полугодовалый младенец. Молодая мать отходила после запоя в камере на нижнем этаже. Весь первый день Клайв слышал ее жалобные крики и стоны, долетавшие из облупленной лестничной клетки.

Его допустили в сердце участка — туда, где людям предъявляли обвинение. Ранним вечером, перед тем как снова дать показания, он стал свидетелем драки возле стола дежурного сержанта: рослый потный парень с бритой головой был пойман в чьем-то саду с болторезом, отмычками, ножовкой и кувалдой, которые он прятал под пальто. Парень твердил, что он не взломщик и ни в какую камеру не пойдет. Когда сержант сказал, что взломщик и пойдет, парень ударил одного из констеблей в лицо, после чего был свален на пол двумя другими констеблями, закован в наручники и уведен. Никто особенно не разволновался, даже полицейский с разбитой губой; Клайв же схватился за грудь, чтобы утишить сердцебие-

[29] Примечания: 29
Питер Пейрс (1910–1986) — британский тенор.

ние, и вынужден был сесть. Позже патрульный принес бледного, безмолвного четырехлетнего мальчика, которого нашли бродящим по стоянке возле захудалой пивной. Потом за ним пришло в слезах ирландское семейство. Пришли, жуя волосы, две девушки-близняшки искать защиты от буйного отца; их встретили шутками, как хороших знакомых. Женщина с окровавленным лицом подала жалобу на мужа. Очень древняя черная дама, сложенная остеопорозом вдвое, была выгнана невесткой из дому и не знала, куда податься. Приходили и уходили социальные работники, с виду такие же незадачливые и такой же уголовной внешности, как их подопечные. Все курили. В люминесцентном свете все выглядели больными. Было много обжигающего чая в пластиковых чашках, много криков, и привычной бесцветной ругани, и потрясаний кулаками, которых никто всерьез не воспринимал. Это была одна большая несчастная семья с ее домашними проблемами, по природе своей неразрешимыми. И здесь была семейная гостиная. Клайв съежился за кирпично-красным чаем. В его мире редко кто-нибудь повышал голос, поэтому за вечер он изнемог от волнений. Почти каждый представитель публики, приходившей

сюда — добровольно или нет, — был бледен, и у Клайва сложилось впечатление, что главное занятие полиции — разбираться с разнообразными и непредсказуемыми последствиями нищеты, и занималась она этим гораздо терпеливее, чем смог бы он, — и без брезгливости.

Подумать, что когда-то он называл их свиньями и доказывал во время своего трехмесячного флирта с анархизмом в 1967 году, что они — причина преступности и однажды станут ненужными. Все время, что он был здесь, с ним обходились вежливо и даже почтительно. Казалось, он им *нравится*, этим полицейским, и Клайв спрашивал себя, а нет ли в нем таких качеств, которых он прежде за собой не замечал, — спокойных манер, тихого обаяния, внушительности, быть может. На другое утро, спозаранку, когда его пригласили для опознания, он был полон решимости никого не подвести. Его вывели во двор, на стоянку патрульных машин, и там у стены уже были выстроены человек десять. Он сразу увидел своего — третьего справа, длиннолицего, все в той же матерчатой кепке. Какое облегчение. Когда вернулись в участок, один из детективов взял Клайва за локоть, крепко пожал, но ничего не сказал. Его окружала атмосфера сдержанной радости, и все,

казалось, любили его еще больше. Теперь они работали как единая команда, и Клайв вошел в роль главного свидетеля обвинения.

Позже провели еще одно опознание, и на этот раз каждый второй был в матерчатой кепке, и все — с длинными худыми лицами. Но Клайв не дал себя запутать и указал на крайнего, без кепки. Потом в участке детективы сказали ему, что это второе опознание не так важно. По процессуальным причинам его могут даже не принять в расчет. Но вообще они в восторге от его рвения. Считайте себя почетным полицейским. Одна патрульная машина поедет в сторону аэропорта. Не хочет ли он, чтобы его подвезли?

Его высадили прямо у терминала. Вылезая из машины и прощаясь, он заметил, что полицейский за рулем — тот самый человек, на которого он указал во второй раз. Но ни Клайв, ни водитель не сочли нужным вспоминать об этом, когда пожимали друг другу руки.

4

Самолет прилетел в Схипхол с двухчасовым опозданием. Клайв доехал на поезде до Центрального вокзала, а оттуда в гостиницу отправился пешком под ровным серым предвечерним небом.

На мосту он в который раз подумал, какой это спокойный и цивилизованный город — Амстердам. Он сделал большой крюк, уклонившись к западу, чтобы пройтись вдоль канала Брауверсграхт. Чемодан у него был совсем легкий. Есть что-то умиротворяющее в том, что улица посередине разделена водой. Какой терпимый, взрослый, без предрассудков город: склады из прекрасного кирпича и резного дерева превращены в изящное жилье, скромные ван-гоговские мосты, неброская уличная мебель, разумные нечванливые голландцы на своих велосипедах, их рассудительные дети, сидящие позади. Даже хозяева лавок выглядят как профессора, а подметальщики — как джазовые музыканты. Нет на свете другого города, организованного так рационально. На ходу он думал о Верноне, о симфонии. Загублена работа или просто с изъяном? Или даже не с изъяном, а со щербинкой, которую он один может разглядеть? Испортили ее, украли самое замечательное. Сейчас он мог сказать себе с мучительной искренностью, что, занимаясь устройством дел, связанных с Верноном, он, Клайв, был озабочен лишь тем, чтобы сдержать данное слово. То, что Вернон искал мира и поэтому захотел приехать в Амстердам,

безусловно, не было простым совпадением или желанием примазаться к празднику. Где-то в глубине почернелой и нездоровой души он принял свою судьбу. Он отдал себя в руки Клайва. В таких размышлениях Клайв добрел наконец до отеля, где выяснил, что прием состоится сегодня в семь тридцать. Из номера он позвонил своему контрагенту, доброму доктору, чтобы обсудить приготовления и — в последний раз — симптомы: непредсказуемое, эксцентричное и крайне антисоциальное поведение, полная утрата здравого смысла. Деструктивные наклонности, мания всемогущества. Распад личности. Обсудили медикаментозную подготовку. Как ее провести? Предложен был бокал шампанского, каковой Клайв счел уместным праздничным росчерком.

До конца репетиции было еще два часа; оставив деньги в конверте у портье, Клайв попросил швейцара поймать для него такси и через несколько минут был уже у бокового служебного входа Концертгебау. Пройдя мимо вахтера и открыв дверь на лестницу, он услышал оркестр. Последняя часть. Как раз ее время. По дороге наверх он уже исправлял пассаж; тут мы должны слышать валторны, а не кларнеты, и литаврам предписано: piano. *Это моя музыка.* Словно

охотничьи рога призывали его, звали к самому себе. Как же он мог забыть? Клайв ускорил шаги. Он слышал то, что написал. Он шел к тому, что его представляло. Одинокие ночи. Злобная пресса. Аллен-Крагс. Зачем он убил столько времени днем, зачем оттягивал эту минуту? Клайв с трудом заставил себя не бежать по кривому коридору, огибавшему зал. Распахнул дверь и замер.

Он очутился там, где хотел: среди кресел за и над оркестром, точнее — позади ударника. Музыканты его не видели, а дирижер стоял к нему лицом. Однако глаза у Джулио Бо были закрыты. Он стоял на цыпочках, подавшись вперед; левая рука его, протянутая ладонью вверх к оркестру, трепетными пальцами вызывала к жизни засурдиненный тромбон, и тот уже играл, нежно, мудро, заговорщицки, впервые возникшую мелодию, Nessun dorma конца века, мелодию, которую Клайв вчера напевал полицейским, ради которой готов был пожертвовать безымянной туристкой. И не напрасно. Звук нарастал, все струнные занесли смычки, чтобы извлечь первые согласные шепоты извилистых скользящих гармоний, и Клайв, незаметно усевшись в кресло, стал тихо обмирать. Фактуры уплотнялись по мере того, как в заговор с тромбоном вступали другие инструмен-

ты, и диссонанс распространялся, как инфекция, и маленькие твердые осколки — вариации, которые не приведут никуда, — вылетали подобно искрам, иногда сталкивались, предуведомляя о мчащейся стене звуков, о цунами, которое уже громоздилось вдали и скоро сметет все на своем пути, прежде чем разбиться о гранит тоники. Но этого не случилось: дирижер постучал палочкой по пульту, и оркестр недружно и неохотно затих. Бо дождался, когда умолкнет последний инструмент, а затем протянул обе руки к Клайву и воскликнул:

— Маэстро, приветствуем вас.

Все головы Британского симфонического оркестра повернулись к нему, и Клайв встал. Под стук смычков о пюпитры он спустился на сцену. Труба сыграла остроумную четырехнотную цитату из концерта ре мажор — Клайва, не Гайдна. Ах, быть на континенте и быть маэстро! Бальзам. Он обнял Джулио, пожал руку концертмейстеру, поклонился музыкантам и с улыбкой приподнял руки, скромно капитулируя. Потом повернулся и зашептал дирижеру на ухо. Беседовать с оркестром о симфонии он сегодня не хочет. Сделает это завтра, когда все отдохнут. Пока что он с удовольствием посидит и послушает. Обратил

внимание Джулио на кларнет и валторны и на piano у литавр.

— Да, да, — с готовностью отозвался Бо. — Я видел.

Возвращаясь на свое место, он заметил, как хмуры лица музыкантов. Они весь день напряженно работали. Ничего, прием в отеле поднимет их дух. Репетиция продолжалась, Бо шлифовал пассаж, прослушивая группы инструментов по отдельности, прося уточнений, среди прочего — в местах, помеченных *legato*.[30] Клайв же старался пока не сосредоточиваться на технических деталях. Потому что теперь это была *музыка*, чудесное превращение мысли в звук. Пригнувшись, закрыв глаза, он вслушивался в каждый фрагмент, который позволял исполнить Бо. Иногда Клайв так углублялся в работу над какой-то частью, что, возможно, упускал из виду конечную цель — доставить наслаждение, такое чувственное и одновременно абстрактное, перевести в вибрацию воздуха этот не-язык, чьи смыслы всегда за горизонтом, мерцают соблазнительно оттуда, где сливаются эмоция и интеллект. Некоторые цепочки нот напоминали ему лишь о недавних

---

[30] Примечания: 30
Legato *(ит.)* — связно.

усилиях, которые он потратил на них. Сейчас Бо проходил следующий пассаж — не совсем диминуэндо, а скорее сокращение, и Клайву вспомнился беспорядок студии на рассвете и предположения на свой счет, в которых он не осмеливался себе признаться. Великий. Идиотом он был, когда об этом подумал? Конечно, должен наступить в жизни такой момент, когда впервые осознаешь свою ценность, — и, конечно, это всегда будет казаться абсурдом.

А уже снова играл тромбон, и сложносплетенное, чуть сдавленное крещендо разродилось наконец последним изложением мелодии — медным карнавальным тутти.[31] *Но фатально не освеженной.* Клайв опустил лицо в ладони. Он не зря беспокоился. Загублена работа. Перед отъездом в Манчестер он отдал страницы в том виде, в каком они были. У него не оставалось времени. Теперь он не мог вспомнить изысканную вариацию, которую почти сочинил тогда. Она должна была стать моментом торжествующего утверждения, вобрать в себя все радостно-человеческое перед грядущим крахом. А в нынешнем виде — простое повторение, фортиссимо, громогласный

[31] Примечания: 31

Тутти *(ит.* tutti — все) — исполнение фрагмента всем составом оркестра.

прозаизм, ложный пафос, хуже того, пустота, и только месть может ее заполнить.

Поскольку время репетиции истекало, Бо дал оркестру доиграть до конца. Клайв обмяк в кресле. Теперь все это звучало для него иначе. Тема распадалась в шквале диссонансов и набирала звучность, но все выходило нелепо, как будто двадцать оркестров настраивалось на *ля*. И диссонанса-то не было. На самом деле почти все инструменты держали одну и ту же ноту. Гудение. Гигантская волынка, нуждающаяся в ремонте. Он слышал только *ля*, перебрасываемое от инструмента к инструменту, от одной группы к другой. Абсолютный слух Клайва вдруг стал его болезнью. Это *ля* сверлило его мозг. Он хотел выбежать из зала, но находился он под прицелом глаз дирижера, и уход с собственной репетиции за несколько минут до конца представлялся немыслимым. Поэтому он еще глубже осел в кресле, сжал ладонями лицо с видом глубокой сосредоточенности и дострадал до финиша, до четырех заключительных тактов тишины.

Условились, что в отель Клайва отвезет дирижерский «роллс-ройс», ждавший у артистического входа. Но Бо отвлекли оркестровыми делами, и несколько минут Клайв мог побыть

наедине с собой в темноте возле Концертгебау. Он прошел сквозь толпу на Ван-Барлестраат. Люди уже собирались на вечерний концерт. Шуберт. (Не наслушался мир сифилитика Шуберта?) Клайв остановился на углу и вдохнул мягкий амстердамский воздух, отдававший, как всегда, сигарным дымом и кетчупом. Он достаточно хорошо знал свою партитуру, знал, сколько там *ля* и как на самом деле звучит этот раздел. То, что произошло с ним в зале, было слуховой галлюцинацией, иллюзией — или крахом иллюзий. Отсутствие вариации погубило его шедевр, и сейчас он утвердился в своих планах еще больше, если возможно такое. Уже не ярость двигала им, не отвращение и ненависть, не верность данному слову. Предстоящее было исполнением контракта, внеморальным и неизбежным, как чистая геометрия, и он не испытывал никаких чувств.

В машине Бо рассказал ему о сегодняшних занятиях, о пассажах, которые игрались с листа, и о двух-трех, которые придется разобрать завтра. Зная несовершенства симфонии, Клайв все-таки хотел, чтобы знаменитый дирижер благословил ее возвышенным комплиментом, — и соответственно наострил вопрос:

— Как по-вашему, в целом она держится? Я

имею в виду — структурно.

Джулио наклонился, чтобы задвинуть стекло, отделявшее их от шофера.

— Отлично, все отлично. Только между нами… — он понизил голос, — по-моему, второй гобой, девушка — очень красива, но играет не идеально. К счастью, вы не написали для нее ничего трудного. Очень красивая. Сегодня мы с ней ужинаем.

Остаток пути Бо вспоминал европейские гастроли БСО, подходившие уже к концу, а Клайв вспомнил последнее их сотрудничество в Праге, когда они восстанавливали «Симфонических дервишей».

— О да, — воскликнул Бо, когда машина остановилась и им открыли дверь. — Я помню. Великолепное произведение. Молодая изобретательность — как трудно ее вернуть, а, маэстро?

В вестибюле расстались: Бо — чтобы ненадолго появиться на приеме, Клайв — чтобы взять у портье конверт. Ему сообщили, что Вернон прибыл полчаса назад и отправился на какую-то встречу. Прием для оркестра, друзей и прессы проходил в длинной галерее с люстрами, в тыльной части отеля. У дверей стоял официант с подносом; Клайв взял оттуда бокал для Вернона и бокал для

себя, удалился в пустой угол и сел на диванчик у окна, чтобы прочесть инструкции доктора и открыть пакетик с белым порошком. Время от времени он поглядывал на дверь. На этой неделе, когда Вернон позвонил, чтобы извиниться за свое обращение в полицию — я был идиотом, обалдел от работы, кошмарная неделя и так далее, — и в особенности когда вызвался приехать в Амстердам, дабы закрепить примирение, тем более что у него там дело, Клайв сумел вложить в свой голос благосклонность, однако трубку клал дрожащими руками. Дрожали они и сейчас, когда он сыпал порошок в шампанское Вернону — оно слегка зашипело и успокоилось. Мизинцем Клайв стер сероватую пену с кромки бокала. Затем встал и взял по бокалу в обе руки. Вернона — в правую, свой — в левую. Это важно запомнить. Вернона — в правую. Хотя он не прав.

Теперь только одна проблема занимала Клайва, пока он пробирался сквозь коктейльный гам музыкантов, администраторов и критиков: как убедить Вернона выпить напиток до прихода доктора. Выпить этот напиток, а не другой. Наверно, лучше всего перехватить его у двери, пока он не взял себе с подноса. Проливая на руки шампанское, Клайв обогнул шумную группу

медных, вынужден был вернуться далеко назад, чтобы избежать контрабасов, напивавшихся наперегонки с литаврами. Наконец он добрался до умеренного братства скрипок, допустивших в свое общество флейты и пикколо. Тут было больше женщин, которые оказывали транквилизирующее действие. Их дуэты и трио заливались тихими трелями, и воздух вокруг был приятно насыщен духами. В стороне трое мужчин шепотом обсуждали Флобера. Клайв нашел свободный участок ковра, откуда открывался вид на высокую двустворчатую дверь в вестибюль. Рано или поздно кто-то подойдет к нему поговорить. Рано. Это был засранец Пол Ланарк — критик, который объявил Клайва Горецким для мыслящих, а позже публично отрекся: Горецкий — это Линли для мыслящих. Удивительно, как у него хватило наглости подойти.

— А, Линли. Один из них — для меня?

— Нет. И будьте любезны исчезнуть.

Клайв с радостью дал бы Ланарку напиток из правой руки. Он отвернулся, но критик был пьян и искал развлечений.

— Слышал о вашем последнем опусе. Он правда называется «Симфонией тысячелетия»?

— Нет, пресса его так назвала, — сухо ответил

Клайв.

— Наслышан, наслышан. Говорят, ободрали Бетховена как липку.

— Уйдите.

— Полагаю, назовете это центоном. Или постмодернистским цитированием. Но вы ведь вроде *пре*-модернист?

— Если не уйдете, ваша глупая физиономия пострадает.

Клайв оглянулся, ища, куда бы поставить бокалы, и увидел направлявшегося к нему с широкой улыбкой Вернона. Как назло, он сам нес два полных бокала.

— Клайв!

— Вернон!

— Ах, — Ланарк изобразил подхалимство. — Сама Блоха.

— Смотри, — сказал Клайв, — я взял для тебя бокал.

— А я для тебя.

— Что ж.

Оба дали Ланарку по бокалу. Затем Вернон протянул свой Клайву, а Клайв свой — Вернону.

— Будем здоровы.

Вернон многозначительно посмотрел на Клайва и кивнул, после чего обратился к Ланарку:

— Недавно видел вашу фамилию в списке весьма выдающихся персон. Судей, главных констеблей, крупнейших дельцов, министров.

Ланарк зарделся от удовольствия.

— Все эти разговоры о рыцарском звании — полная чепуха.

— Естественно. Это касалось детского дома в Уэльсе. Шайка высокопоставленных педофилов. Вас засняли на видео раз пять при входе и выходе. Мы думали дать материал перед тем, как меня выгнали, — но уверен, кто-нибудь этим займется.

Не меньше десяти секунд Ланарк стоял неподвижно, по-военному выпрямившись, с прижатыми локтями, держа перед собой бокалы, и на губах его стыла забытая улыбка. Предостерегающими знаками были некоторая выпученность поглянцевевших глаз и волнообразные движения в горле снизу вверх, обратная перистальтика.

— Берегись! — крикнул Вернон. — Назад!

Они едва успели отскочить от баллистического содержимого желудка Ланарка. Галерея вдруг затихла. Затем с протяжным нисходящим глиссандо[32] отвращения вся струнная группа вместе

---

[32] Примечания: 32

Глиссандо *(ит.* glissando) — непрерывный скользящий переход от ноты к ноте.

с флейтами и пикколо отхлынула к медным, оставив музыкального критика и его деяние — вечерний картофель фри под майонезом с улицы Ауде-Хоогстраат — под одинокой яркой люстрой. Клайва и Вернона унесло с толпой, но, поравнявшись с дверью, они сумели высвободиться и вышли в покойный вестибюль. Там они уселись на банкетку и опять принялись за шампанское.

— Вполне заменило оплеуху, — сказал Клайв. — Это что, правда?

— Раньше я так не думал.

— Еще раз, будем здоровы.

— Будем. И слушай — я говорил это искренне. Я правда жалею, что навел на тебя полицию. Ужасный поступок. Безоговорочные униженные извинения.

— Не надо больше об этом. Страшно огорчен за твою работу и из-за всей этой истории. Ты был самым лучшим.

— Пожмем, раз так. Друзья.

— Друзья.

Вернон допил бокал, зевнул и потянулся.

— Раз мы с тобой сегодня ужинаем, я, пожалуй, вздремну. Разморило.

— У тебя была тяжелая неделя. А я приму ванну. Встречаемся здесь через час?

— Прекрасно.

Вернон поплелся к портье за ключом, Клайв посмотрел ему вслед. Мужчина и женщина, стоявшие у подножия монументальной двойной лестницы, встретив взгляд Клайва, кивнули. Они двинулись за Верноном наверх, а Клайв сделал круг-другой по вестибюлю. Потом тоже взял ключ и отправился к себе.

Через несколько минут он уже стоял над ванной, босиком, но полностью одетый, и пытался совладать с блестящим позолоченным механизмом, управлявшим пробкой. Его надо было одновременно поднять и повернуть, но у Клайва, видимо, не хватало сноровки. Между тем из подогретого мраморного пола через босые подошвы в него наливалась истома. Белые ночи в Южном Кен… кровопийство в полицейском участке, акколады[33] в Концертгебау; у него тоже была трудная неделя. Тогда вздремнуть перед ванной. Вернувшись в спальню, он выплыл из штанов, расстегнул рубашку и с довольным стоном погрузился на широкую кровать. Золотой атлас покрывала ласкал бедра, и Клайв отдался сладкому изнеможению. Все хорошо. Скоро

[33] Примечания: 33

Акколада — скобка, которая соединяет несколько нотных станов и указывает, что ноты, записанные на них, исполняются одновременно.

он будет в Нью-Йорке у Сюзи Марселлан, и эта забытая, застегнутая его часть снова воспрянет. Утопая в роскошных шелках — даже воздух в этом дорогом номере был шелковистым, — он ерзал бы сейчас в предвкушении… если бы не лень было пошевелить ногой. Может быть, если бы он сосредоточился на этом, если бы хоть на неделю перестал думать о работе, он сумел бы возбудить в себе любовь к Сюзи. Женщина славная во всех отношениях, настоящий товарищ, верный. При этой мысли он преисполнился невыносимо теплым чувством к себе, человеку, который достоин верности, и ощутил, как по скуле скатилась слеза и защекотала в ухе. Но стереть ее тоже было лень. Да и незачем, потому что по комнате к нему шла Молли. Молли Лейн! И кто-то за ней следом. Ее дерзкий ротик, черные глазищи и новая стрижка — короткая — к лицу. Чудесная.

— Молли! — прохрипел Клайв. — Извини, не могу встать…

— Бедный Клайв.

— Я так устал.

Она положила прохладную ладонь ему на лоб.

— Милый, ты гений. Твоя симфония — волшебство.

— Ты была на репетиции? Я тебя не видел.

— Ты был слишком занят и важен. Я хочу тебя с кем-то познакомить.

В свое время Клайв знал почти всех любовников Молли, но этого припомнить не мог.

Молли никогда не терялась в обществе; она нагнулась и шепнула ему на ухо:

— Ты с ним встречался. Это Пол Ланарк.

— Ну конечно же. Я не узнал его в бороде.

— Понимаешь, Клайвик, он хочет твой автограф, но стесняется попросить.

— Нет, нет, я совсем не против.

— Я был бы страшно благодарен, — сказал Ланарк, подсовывая ему перо и бумагу.

— Ей-богу, вы напрасно стеснялись. — Клайв нацарапал свое имя.

— И здесь, пожалуйста, если вас не затруднит.

— Ну что вы, какие пустяки.

Подпись отняла последние силы, и ему пришлось лечь. Молли снова придвинулась ближе.

— Милый, я сделаю тебе один маленький выговор и больше никогда об этом не заговорю. Знаешь, тогда в Озерном краю мне очень нужна была твоя помощь.

— Господи! Я не знал, что это ты, Молли.

— Работа у тебя всегда была на первом месте, и, может быть, это правильно.

— Да. Нет. То есть, если бы я знал, что там ты, я бы показал этому узколицему.

— Конечно показал бы. — Она взяла его запястье и посветила в глаза фонариком. Какая женщина!

— Моей руке горячо, — прошептал Клайв.

— Бедный Клайв. Поэтому я и закатываю тебе рукав, глупышка. А теперь Пол хочет показать тебе, что он на самом деле думает о твоей симфонии — и для этого воткнет тебе в руку большущую иглу.

Музыкальный критик так и сделал, и было больно. От некоторых похвал бывает. Но чему научился Клайв за долгую жизнь — это искусству принимать комплимент.

— Что ж, большое спасибо, — пустил он руладу сквозь всхлип. — Вы слишком добры. Сам я о ней не такого высокого мнения, но все равно рад, что она вам понравилась, — спасибо огромное.

С точки зрения голландского доктора и сестры, композитор приподнял голову и, прежде чем закрыть глаза, попытался — с подушки — отвесить скромнейший поклон.

5

Впервые за день Вернон остался один. План его был прост. Он тихо закрыл дверь в приемную, скинул туфли, отключил телефон, смахнул бумаги и книги со стола — и лег на него. До утреннего совещания оставалось целых пять минут, и он вполне еще мог вздремнуть. Он уже так делал — и ведь это в интересах газеты, чтобы он был в наилучшей форме. Умащиваясь, он увидел себя массивной статуей, господствующей над вестибюлем здания газеты «Джадж», могучей полулежащей фигурой, высеченной из гранита: Вернон Холлидей, человек действия, редактор. На отдыхе. Но только временно, потому что скоро совещание и уже — черт подери — сотрудники подтягиваются. Надо было сказать Джин, чтобы не пускала. Он обожал истории о былых редакторах, рассказываемые за обедом в пабах; великий В. Т. Холлидей — ну, знаете, прославился «Плешьгейтом», — а утренние совещания проводил, *лежа на столе.* Должны были делать вид, что не замечают. Слова сказать не смели. *В носках.* А нынче — все серая мелкота, выдвиженцы из бухгалтеров. Или женщины в черных брючных костюмах. Вам большой джин с тоником? Кто, как

не он, сделал знаменитую первую полосу. Весь текст загнал на вторую страницу — *картинка все сама скажет.* Вот когда газеты что-то значили.

Начнем? Все уже здесь. Фрэнк Диббен и рядом с ним — приятный сюрприз — Молли Лейн. У Вернона это было вопросом принципа — не смешивать личную и профессиональную жизнь, так что он ограничился деловитым кивком. Красивая все-таки женщина. И умно придумала — стать блондинкой. И он умно придумал — взять ее в штат. Исключительно на основании ее блестящей работы в парижском «Воге». Знаменитая М. Л. Лейн. *Ни разу не прибрала в квартире. В жизни не вымыла тарелки.*

Не подперев даже голову рукой, Вернон приступил к разбору полетов. Под головой почему-то оказалась подушка. Это придется по душе грамматикам. Он имел в виду статью Диббена.

— Я уже говорил, — начал он, — и скажу еще раз. «Панацея» не применяется к одной конкретной болезни. Это — универсальное средство. Панацея от рака — бессмыслица.

Фрэнк Диббен имел наглость подойти к Вернону вплотную.

— Позволю себе не согласиться, — сказал заместитель редактора международного отдела. — Рак

принимает различные формы. Панацея от рака — вполне законное словоупотребление.

Фрэнк возвышался над Верноном, и это было его преимуществом, однако Вернон остался лежать, показывая, что оно его не пугает.

— Чтобы я этого больше не видел в моей газете, — спокойно произнес он.

— Но я, в сущности, о другом, — сказал Фрэнк. — Подпишите, пожалуйста, мои служебные расходы. — Он протянул бумагу и перо.

Великий Ф. С. Диббен. *Возвел свои расходы в ранг искусства.*

Это было возмутительное требование. На совещании! Не опускаясь до препирательств, Вернон продолжал разбор. Это тоже было из Фрэнка, из той же статьи.

— У нас тысяча девятьсот девяносто шестой. Если вы хотите сказать «надо», не пишите «надобно».

Вернон был несколько разочарован тем, что на выручку Диббену пришла Молли. Ну конечно! Молли и Фрэнк. Мог бы и догадаться. Она дергала Вернона за рукав рубашки, она воспользовалась личными связями с редактором, чтобы защитить интересы действующего любовника. Она наклонилась и зашептала Вернону на ухо:

— Милый, он задолжался. Нам нужны эти деньги. Мы хотим обзавестись прелестной квартиркой на Рю-де-Сен.

Действительно, прекрасная женщина, и устоять перед ней всегда было невозможно, особенно после того, как она научила его жарить порчини.

— Хорошо. Только быстро. Нам надо продолжать.

— В двух местах, — сказал Фрэнк. — Наверху и внизу.

Вернон дважды написал: В. Т. Холлидей, главный редактор, на что ушло, казалось, полчаса. Покончив с этим, он вернулся к обзору. Молли закатывала ему рукав, но спросить: зачем? — значило опять отвлечься. Диббен тоже продолжал торчать у стола. Ему сейчас не до них. Еще о многом надо сказать. Сердце у него зачастило, он перешел на возвышенный оракульский тон:

— Теперь о Ближнем Востоке. Наша газета известна своей проарабской позицией. Тем не менее мы будем и впредь бесстрашно обличать жестокости, э-э, творимые обеими сторонами…

Вернон никому не рассказал бы о жгучей боли в верхней части руки и о том, что до него стало доходить, хотя и смутно, где он на самом деле

находится, и что было в его шампанском, и кто эти его визитеры.

Однако речь свою он прервал, на мгновение умолк, а потом пробормотал благоговейно:

— Контрход.

6

В ту неделю премьер-министр произвел перестановки в кабинете, и все сочли, что, хотя общественное мнение склонилось в пользу Гармони, судьбу его решила фотография в «Джадж». За один день бывший министр иностранных дел выяснил — в коридорах партийной штаб-квартиры и у членов парламентской фракции, — что его выдвижение в ноябре не приветствуется: подверженная в политике эмоциям страна, возможно, и даровала прощение или, по крайней мере, отнеслась к нему снисходительно, однако для политиков такая уязвимость их будущего вождя — помеха. Отныне его удел — безвестность, каковой он обязан редактору «Джадж»; поэтому в аэропорту, до зала VIP,[34] куда его недавняя должность давала доступ, он добрался без роя репортеров и без свиты чиновников. У бесплатного

[34] Примечания: 34

VIP — сокр. very important persons *(англ.)* — очень важные лица.

бара наливал себе виски Джордж Лейн.

— А, Джулиан. Присоединитесь?

Они не виделись с похорон Молли и рукопожатиями обменялись с осторожностью. До Гармони дошли слухи, что фотографии продал Лейн; Лейн не знал, знает ли об этом Гармони. Гармони, в свою очередь, не знал, как относится Лейн к его связи с Молли. Лейн не знал, известно ли Гармони, до какой степени он, Лейн, презирает его. Им предстояло вместе лететь в Амстердам, чтобы сопровождать гробы обратно в Англию: Джорджу — как старому другу Холлидеев и спонсору газеты «Джадж», Джулиану — по просьбе Фонда Линли, как защитнику интересов Клайва в правительстве. Попечители фонда надеялись, что присутствие бывшего министра сократит волокиту, сопровождающую международные перевозки трупа.

Со стаканами в руках они пересекли запруженный народом зал — нынче большинство людей сходят за VIPов — и отыскали сравнительно свободный угол возле двери в туалет.

— За усопших.

— За усопших.

Гармони с минуту подумал и сказал:

— Слушайте, коль скоро мы тут по одному делу,

давайте уж внесем ясность. Это вы предоставили фотографии?

Джордж Лейн вырос на два не лишних сантиметра и обиженно произнес:

— Как бизнесмен я неизменно поддерживал партию и делал взносы в ее фонд. Зачем бы мне это понадобилось? Холлидей, вероятно, сидел на них, дожидался удобного момента.

— Я слышал, несколько газет пытались их купить.

— Молли передала авторские права Клайву. Фунт-другой он, наверно, заработал. Мне не хотелось спрашивать.

Гармони, отпивая виски, думал, что «Джадж», конечно, не станет раскрывать свои источники. Если Лейн лжет, то делает это ловко. Если нет — будь проклят Линли и все его симфонии.

Объявили их рейс. Когда они спускались к поданному лимузину, Джордж тронул Джулиана за руку и сказал:

— Знаете, на мой взгляд, вы распутались с этой историей чертовски удачно.

— Вы полагаете? — Гармони незаметно убрал руку.

— О да. Многие повесились бы из-за меньших неприятностей.

Через полтора часа голландская правительственная машина уже везла их по улицам Амстердама.

Поскольку они довольно долго перед этим молчали, Джордж весело сказал:

— Я слышал, премьера в Бирмингеме отложена.

— На самом деле отменена. Джулио Бо говорит, что это провал. Половина БСО отказывается играть. Кажется, там есть мелодия в конце — бесстыдно списана с бетховенской «Оды к радости», с разницей в одну-две ноты.

— Неудивительно, что он покончил с собой.

Тела хранились в маленьком морге полицейского управления Амстердама. Спускаясь по бетонным ступенькам, Гармони подумал о том, есть ли такое же секретное место под Скотланд-Ярдом. Теперь уж ему не узнать. Провели официальное опознание. Бывшего министра отозвали в сторону для беседы с чиновниками голландского Министерства внутренних дел, и Джордж Лейн разглядывал лица своих старых приятелей в одиночестве. Оба выглядели на удивление мирно. У Вернона был приоткрыт рот, как будто он не успел досказать что-то интересное, а у Клайва на лице застыло счастливое выражение

человека, осыпаемого аплодисментами.

Вскоре Гармони и Лейна повезли обратно через центр города.

— Мне только что сообщили нечто весьма интересное, — посреди дороги сказал Гармони. — В прессе были неверные сведения. И у нас тоже. Это вовсе не двойное самоубийство. Они отравили друг друга. Подсыпали неизвестной дряни. Это было обоюдное убийство.

— Бог мой!

— Оказывается, тут есть мошенники-врачи, использующие законы об эвтаназии до крайних пределов. Их главный заработок — убирать престарелых родственников.

— Занятно, — сказал Лейн. — По-моему, в «Джадж» была статья об этом.

Лейн отвернулся и посмотрел в окно. Они ехали с пешей скоростью по Брауэрсграхт. Какая опрятная улица. На углу — чистенькая кофеенка; в ней, вероятно, продают наркотики. Он вздохнул.

— Ах эти голландцы с их разумными законами.

— Да уж, — отозвался Гармони. — Когда доходит до разумности, им просто удержу нет.

К концу дня, прибыв в Англию, уладив в Хитроу гробовые формальности и пройдя таможню, они

нашли своих шоферов, пожали руки и разъехались: Гармони — в Уилтшир, чтобы подольше побыть с семьей, а Лейн — навестить Манди Холлидей.

Джордж попросил остановить машину в начале улицы, чтобы несколько минут пройтись. Надо было обдумать, что он скажет вдове Холлидея. Но вместо этого, шагая в прохладных покойных сумерках мимо просторных викторианских домов, под жужжание первых весенних газонокосилок, он обнаружил, что его мысли приятно потекли в другую сторону: Гармони свален и основательно спутан лживыми заявлениями жены перед прессой о том, что у него не было романа с Молли; а теперь и Вернон устранен — и Клайв. В общем, ситуация на фронте бывших любовников сложилась не так уж плохо. Можно уже подумать и о панихиде по Молли.

Джордж дошел до дома Холлидеев и остановился на крыльце. Он знал Манди много лет. Прелесть. Была довольно необузданная. Пожалуй, уже удобно пригласить ее поужинать.

Да, панихида. Лучше Сент-Мартин, чем Сент-Джеймс, облюбованная доверчивой публикой, читающей книжки вроде тех, что он сам издает. Стало быть, Сент-Мартин, и речь произнесет он

один, больше никто. И бывшие любовники не будут переглядываться. Он улыбнулся и, поднимая руку к звонку, сладко задумался о будущем списке приглашенных.

~

Copyright © 1998 by Ian McEwan